АНАТОЛИЙ
ЛУНАЧАРСКИЙ
ЗА ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ

АНАТОЛИЙ
ЛУНАЧАРСКИЙ

ЗА ПРАВО НА СЧАСТЬЕ

Дневники
Письма
Повести

Издательство ЦК ВЛКСМ „Молодая гвардия". 1970

НА МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ВЕСТИБЮЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА ЛИТЕРАТОРОВ В МОСКВЕ, В СЛАВНОМ РЯДУ МОСКОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ОТДАВШИХ СВОИ ЖИЗНИ В БОРЬБЕ ЗА ЧЕСТЬ И СВОБОДУ РОДИНЫ, СТОИТ ИМЯ МОЛОДОГО ЛИТЕРАТОРА АНАТОЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ЛУНАЧАРСКОГО.

«ОН БЫЛ ОДНОВРЕМЕННО И ПИСАТЕЛЕМ, И БОЙЦОМ, И ПОЛИТРАБОТНИКОМ. В АДУ НЕПРЕКРАЩАВШИХСЯ НИ ДНЕМ, НИ НОЧЬЮ СРАЖЕНИЙ ДЕЛАЛ ОН ЗАМЕТКИ В СВОЕЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ, ЧТОБЫ ПОТОМ СНОВА ВЗЯТЬСЯ ЗА АВТОМАТ И СЛОВОМ И ДЕЛОМ ПОДНИМАТЬ ДУХ НАШИХ БОЙЦОВ... ВСЯ ЕГО БОЕВАЯ ЖИЗНЬ — ПРЕКРАСНЫЙ ОБРАЗЕЦ ЧЕСТНОГО И БЕЗЗАВЕТНОГО СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ...»

ТАК ПИСАЛ В ТЕ ДНИ, СООБЩАЯ О ГИБЕЛИ ПИСАТЕЛЯ-БОЙЦА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АГИТАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА ПОЛКОВНИК Д. КОРНИЕНКО.

ПУБЛИКУЯ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ФРОНТОВОГО ДНЕВНИКА, НЕСКОЛЬКО ПИСЕМ МАТЕРИ И ЖЕНЕ, ГЛАВЫ ИЗ ВОЕННОЙ ПОВЕСТИ «НА КАТЕРАХ-ОХОТНИКАХ» И ПОВЕСТИ «ЛОВЦЫ ЖИВОГО СЕРЕБРА», МЫ ВОЗДАЕМ ДАНЬ НАШЕГО УВАЖЕНИЯ К ПАМЯТИ БЕЗВРЕМЕННО ПОГИБШЕГО ПИСАТЕЛЯ.

...Каждый из нас, кто не выйдет из битвы живым физически, будет вечно жить в памяти и песнях народа и в ликующей победоносной жизни тысяч поколений свободных людей, людей коммунизма...

Анатолий Луначарский
(Из письма к матери)

ИЗ ФРОНТОВОГО ДНЕВНИКА

...Кажется, всю «сознательиую жизнь» я стремился аккуратно писать дневник и никогда не осуществлял этого своего стремления. Однако хотя многое, может быть, самое важное даже, и упущено в моих записях, они послужат каким-то отражением моего бытия, пусть смутным и бедным...

(Из записи в дневнике 27 апреля 1942 года)

Июнь 1941 года

...Две недели, которые промчались как крылатые. А заглаиешь в прошлое — там было счастье и огромиые иадежды апереди...

8 апрела а приехал в Лазвреаскую, где мена ждала моя жеиа Алеиушка, котораа уже тогда три месаца носила иашу будущую дочку Аиютку...

Я провел пать счастлиаых иедель там, в Лазаревке, иа берегу любимого мора, у любимых гор, хотя был перегружеи работой иад плохо удающейса статьей, которую иужио было написать, чтобы жить дальше и иачвть пьесу о любви и дружбе.

Там же с иебыаалой силой поаторилса у меиа приступ жажды «осознать художественно асю свою жизнь сполиа» — тот свмый приступ, который случалса со миой миожестао раз, начинаа лет с деаатнадцати...

Мне иужно было писать статью, а а с иеобычайной остротой аосприиимал самый процесс жизни — прозрачность моря, бледио-изумрудиую игру солнечиых лучей а кроиах дереаьеа и иа траае, цветы черешии, а которых гудели пчелы, козочек в кустах азалий, мох и трааиики среди камией глубокого колодца, а котором сам а отражался, как а блистающем круглом зеркале, когда вытаскивал ведро...

И а все придумывал «прием», который позволил бы мие «опосредствоаать» материал моего личного, индивидуального бытиа... Долго пришлось мие думать, прежде чем я пришел к успокоиашему меиа аарианту: а иапишу, в сущности, «мемуары молодого челоаека» — саои мемуары,

и лишь для «приличия» замаскируюсь полумаской псевдонима. Я даже имя второе себе нашел: Любим...

Я видел уже «призрак» готовой книги и был увлечен и счастлив!..

...А вот сейчас я попрощался с нашей соседкой по квартире, ездившей в Западную Белоруссию и бежавшей оттуда с двумя ребятишками от огня и бомб гитлеровской банды. Прежде рыхлая, чудаковатая, она исполнена теперь какой-то героической красотой. 22 июня первые же фашистские бомбы упали на крышу ее дома. Все было брошено... Она ушла, неся маленькую дочь и ведя за руку сына. Они ехали в составах, то и дело останавливавшихся в пути из-за бомбежки, два дня шли пешком. Они видели трупы советских людей... Один человек сказал ей: «Гражданка, бросьте девочку. Лучше спасите хоть мальчугана»... Но она спасла обоих... И сегодня, когда она говорила со мной, я чувствовал, какая это для меня радость — смотреть на нее, на мать, спасшую своих детей...

Сегодня же я узнал, что через три дня ухожу во флот...

9 июля 1941 года

...Митинг в Союзе писателей. С шести утра я дежурю в Президиуме и парткоме Союза. Со мной на пару дежурит Либединский, с его шекспировской внешностью. Слушаем сводки, надеемся на быстрый отпор... Вдруг вся Москва говорит: «Варшава взята», «Берлин разбомбили»...

...Чувство какой-то полной отрешенности от своей личной жизни при абсолютной вере в конечную победу нашего дела...

25 июля 1941 года

...Два дня назад мы возвращались строем из столовой экипажа в наши «детясли» (общежитие резерва).

Ян Сашин оставался дежурным, не спал тридцать шесть часов, был по этому случаю и томен, и величествен. Сообщает: товарищам Гайдовскому, Пвиченко, Ряховскому и ему, Сашину, а также художнику Решетникову немедленно явиться на мобилизационную базу экипажа. Завтра утром явиться туда же Уткину, Луначарскому и Дорохову (художнику). Ну, разумеется, сейчас же начались расспросы. Ян говорил невразумительно: Уткин будто бы — в Одессу, он, Сашин, и Ряховский — в «Красный черноморец», Пвиченко — неизвестно куда, Луначарский — «на корабль» (!!).

Утром узнаю, что назначен на какой-то ОВР *. Вспоминаю, что этот самый ОВР имеет отношение к тральщикам и минам и что краснофлотцы с тралов — наиболее уничтожаемая часть людского состава флота...

Мы с Дороховым пошли на Малахов курган... Внизу, у бирюзовых

* Охрана водного района *(Ред.)*.

бухт, лежал Севастополь с его розовыми черепичными крышами, кораблями, со всем его напрайсным южным великолепием.

Я думал о Севастопольской обороне, о Толстом, о жизни и смерти. И постепенно все большее спокойствие вливалось в мое сердце...

27 июля 1941 года

...Третий день моего пребывания в Стрелецкой бухте... Она лежит меж невысоких, округлых гор-холмов, плоская и неярная. По берегам — строения барачного типа с замазанными грязью окнами в целях маскировки.

Я сразу же направился к полковому комиссару Бобкову, начальнику политотдела ОВРа. Плотный, веселый, краснолицый человек, вечно готовый улыбнуться и засмеяться, принял меня любезно, но с некоторым недоумением и даже капельной недоверия. Позвонил сейчас же куда-то, расспросил о моем назначении. После переговоров обратился ко мне, предварительно вызвав редактора многотиражки: «Ну, будете помогать делать нашу газету. Главным образом, придется ходить на кораблях...»

На следующий день я был представлен начальнику ОВРа, вице-адмиралу, молодому, очень насмешливому и интеллигентному, и комиссару ОВРа. Вице-адмирал спросил меня: «Зачем вы, собственно, к нам приехали?» Я ответил: «Я не приехал, а был назначен к вам. Думаю, что цель моя здесь — помочь наладить газету в силу моих способностей, а сверх того сообщать о всем значительном в прессу. И наконец, написать впоследствии книгу о ваших людях...»

Комиссар, после того как вице-адмирал отпустил меня, посоветовал налегать сейчас на изучение устава: «...а то вечно будете попадать в неловкое положение...».

Хочу чуточку разобраться в своих настроениях за этот месяц войны.

Сперва была некоторая растерянность: «Гибнет мое солнечное счастье»... Затем— чувство героическое. «Ну, что же! Пойду, умру за коммунизм!» Далее все возрастающая в связи с продвижением фашистов тревога. От нее меня избавляло чтение истории ВКП(б); героическое прошлое как бы говорило: «Мы все равно победим»... Сообщение о назначении в ОВР стеснило на минуту душу — почувствовал, что попадаю в пекло морской войны... И, наконец, жизнь здесь, с этими бесстрашными людьми, привела меня в состояние какой-то мужественной гармонии...

30 июля 1941 года

...Итак, я в первой моей боевой операции. Вышли охотиться за подводной лодкой, обнаруженной в нашем районе.

Иду на тральщике. Вскочил на него перед самым отходом, еще не зная характера операции. Если ночь пройдет благополучно, — утром будем вытраливать мины. Веселая работа!..

...Здесь есть доктор, длиикый, углоаатый мальчик с краскаымк руками. Над ккм асе дружеск посмеваются. Ок кккогда раньше ке ходкл ка судах к только-только ококчкл учебу. Ему амеияются самые страшиые обвкнеикя: «алкоголкк, мол, распуткик»... Это — для смеха.

О кем можко было бы сделать ковеллу: как ок стаковится героем, сбиа самолет лротквккка. Продумать!

12 сентября 1941 года

Это было 8 сеитября... Я пошел а Балаклаву с катером, ка котором секретарем ларторгаиизацик Ф. — дельиый малый. Я лошел для того, чтобы «сиять с кего кктераью». Но это было лишь офкциальиым лоаодом. А акутреккее лобуждекке — лопасть а Балаклаау, а место, где я жкл, когда мке было лет даекадцать-тркиадцать...

Как обычко, я забрался ка бак и смотрел иа сккее море к берега, испытывая радость от стремителького движеккя катера, асе время слыша лекке аетра а своих ушах. Порою мекя обдааалк брызгк...

Потом я лошел ка мостик, сел ка откидной стульчкк и собрал лредаарктелькые саедеикя у Ф. о его работе с лкчкым состааом. Ок рассказывал о саоей работе с пюбоаью, с возбуждеикем — этот лохожий иа молодого аолка морячок с холодиымк сике-зелеиымк глазамк. Но я, лризкаться, слушал его алолуха... Вообще, я довольно скверкый журкалист. Во мке лостояико теснятся мысли о моей ккиге — все остальное доходкт как-то лркглушеико, мало увлекая...

Скалы стакоаилксь асе аыше, и вот локазались аорота а Балаклавскую бухту. Я сейчас же узкал «дом, впаяккый а скалы», а котором когда-то жкл, да к всю Балаклаау...

Мы уедиккликсь с Ф. в кают-комлаккк, где я залисал его рассказ. Потом я оказался саободек к лошел бродить.

Я был а том, «моем», доме. Каким жалккм ои стал! Когда-то ок аесь был увит розамк к как бы плавал а их теплых ароматах. Теперь все замусорено, застроеко какими-то чулакчккамк... Меня астреткло иесколько белых голодиых кур, цыплят и летухоа, которые стали бродить за мной, как попрошайки. И больше — ки души...

Какой-то старикак лредложкл лереаезтк меия через бухту. Я соглаcклся... Перелравквшись ка другой берег, я лошел к Геиуэзской крелостк. Я шел дорожкой, средк сизых, разогретых солкцем к лоющкх кузиечикамк ароматких траа. И чем аыше я лодикмался, тем лрекрасиее стакоаклась Балаклава акизу. Бухта казалась тихим бирюзоаым озером...

2 октября 1941 года

Сижу а лартучете ОВРа, оформляю свои лартдокумекты...

Сейчас лора лодаести итогк моей жизкк в ОВРе, так как мекя леребрасывают ка другую работу — а отряд морской лехоты.

Ян Сашин довольно остроумно сказал как-то мне: «ОВР сделал свое дело, ОВР может уходить».

Действительно, ОВР сыграл немалую роль в моей жизни: здесь для меня была «прелюдия» войны. Здесь я стал коммунистом уже не только сердцем, но и «организационно оформленным». Здесь я впервые близко познакомился с нашими военными людьми...

30 октября 1941 года

...Поднимаюсь по заросшей дорожке — руслу горной речки. Какое ожидание встречи, какое счастье в сердце!..

Ветка ожины, длинная и колючая, зацепила мою фуражку. Я поднял глаза и вижу — гроздь иссиня-черных ягод тянется ко мне, спускаясь с зеленого свода, образованного переплетающимися ветками кустов и лианами.

Я жадно, точно целуя, приник к грозди ягод — они освежили меня, ароматные, прохладные. И снова — вперед...

Я все время думал: это самые счастливые минуты твоей жизни — впитывай их в себя, впивайся в них всем сознанием твоим! Воспоминание о них даст тебе силы в сумрачные моменты жизни. И я вникался в каждый шорох, в писк птички, в блестки солнца на земле, в игру теней — во все, во все...

Еще мгновение — и Аленушка увидела меня. «Толя! — не то ликующим, не то плачущим голосом воскликнула она. — Анна Александровна! Толя приехал!..»

...Лазаревская!.. Я здесь с мамой, с Аленушкой, которая вот-вот должна родить.

Разве не мелькало в голове моей: ты уже никогда не увидишь свою маму! Но вот — я с мамой. Она читала мне свои прекрасные записки, у меня невольно слезы из глаз текли — так это благородно, высоко, красиво то, что она пишет...

А какими светлыми, сияющими днями встретила меня Лазаревская! Какие огненные краски осени! Закаты и восходы. Сад, весь пламенеющий цветами...

Еще четыре дня буду я здесь — потом назад, к себе, в Севастополь, в войну...

О, я не боюсь войны, и эта встреча дала мне много энергии. Но сегодня мне грустно, грустно... Темное облако наползло на мое «внутреннее солнце»... Сдан Харьков. Враг все еще силен, он все еще нас теснит. И нет возможности оставаться счастливым при всей готовности быть счастливым. Гнев поднимается из глубины сердца... Мы не привыкли считать Гитлера сильным. Трудно примириться с тем, что он «побеждает» — пусть временно, пусть роя себе бесславную могилу...

...Проклятье, проклятье Гитлеру и его подлецам! Гнусные, нищие

духом, они гниют заживо и сгниют на наших просторах. Но сколько боли, сколько горя принесли они...

Июль 1942 года

Моя жизнь в Сочи сложилась странно для войны: гром орудий был от меня за тридевять земель. Я работал, работал с дьявольским напряжением. Но — как писатель, а не как военный. Война для меня выражалась в необходимости потеть в жару в суконном кителе, в напряженном слушанье сводок и читке по воскресеньям подшивок «Красной звезды», в хождении в гарнизонную столовую, что меня больше истощало, нежели питало, так как приходилось идти по жаре восемь километров... Конечно, внутренне я все время ощущал войну как боль...

Быт сложился так: две комнатки в госпитале для контуженных, во флигеле на втором этаже. В центре жизни семьи — крошка Анютка, о которой один доктор сказал: «В жизни не видел такого оригинального, забавного и очаровательного ребенка!» Аленушка, прикованная к дочурке, уставшая, истощенная кормлением, похудевшая мама, по-прежнему отдающая себя нам... Любовь, нежность, глубокая дружба и маленькие бури...

Однако внутри нарастала реакция. И когда я приближался к концу работы, я вдруг почувствовал: «жажду войны, жажду риска, жажду героики!» Мне стало стыдно, что я так живу... И я решил ехать в осажденный Севастополь. Я мечтал о Севастополе как о счастье, а еще больше о том времени, когда вернусь и почувствую п р а в о на то счастье, которым окружен и которое не могло быть счастьем, поскольку я не испытал до конца всей горечи войны...

ИЗ ПИСЕМ МАТЕРИ И ЖЕНЕ

27 сентября 1941 года

Дорогие мои! Сегодня или завтра я получу партийные документы. Прошло уже примерно сто дней войны. И вот к этому юбилею я прихожу коммунистом.

Что сказать вам о чувствах моих, любимые! Я счастлив тем мужественным счастьем борьбы и веры в победу, которое воодушевляет каждого подлинного советского гражданина.

Мы победим и принесем всему человечеству весну возрождения. Великая честь, великая радость жить и бороться в армии большевиков... Великое счастье прийти вместе с ней к лучезарному Дню Победы!

Но и смерть в этой борьбе — прекрасна. Любую, самую маленькую, судьбу она поднимает на высоты героизма, пусть и безымянного, но имеющего величайшее историческое значение.

Разве страшно сгореть в этом столкновении света и тьмы! Лишь бы горел ты максимально ярким пламенем. Каждый из нас, кто не выйдет из битвы живым физически, будет вечно жить в памяти и песнях народа и в ликующей победоносной жизни тысяч поколений свободных людей, людей коммунизма.

В этот высокий, торжественный миг моей жизни я думаю о вас, любимые, о вас, маленькой группке советских людей, в которых сосредоточилось для меня, откристаллизовалось все чудесное, что дала мне Родина, за которую бьемся, для которой победим...

16 февраля 1942 года

Мамочка, дорогая!..

...Я не попал ни в Азов, ни в Новороссийск, а был направлен в Туапсе, где и работал в многотиражке и по истории воинских частей. Работа эта была не особенно яркой, но я имел возможность встречать занятных людей и много читать.

Ярчайшим эпизодом этого периода, длившегося до Октябрьских торжеств, были восемь дней, прожитых мною в горах, на корректировочном посту дальнобойной батареи. Об этом периоде я написал статейку, которую послал вам (вырезку из «Красного черноморца»). В несколько ином варианте она была напечатана в московской газете «Красный флот» и передана по радио. Интересно, слышали ли вы ее! Мы жили в пещере, наблюдали за немцами в бинокль. Много было и поэзии и мужества в нашей жизни.

На праздники я захворал желтухой — у нас была эпидемия так называемой «окопной», или инфекционной, желтухи... После болезни я прибыл в Поти, где прожил недолго — тянуло в обстановку борьбы, и я отпросился в морскую пехоту... Вслед за тем меня прикрепили к канонерским лодкам, и здесь открылись наиболее волнующие страницы моей жизни на Черноморье. Я участвовал в боях и проявил себя хорошо, так что теперь командиры, знающие меня, говорят: «Писатель! Да какой тут черт писатель! Это не просто писатель! Это герой писатель!..» Конечно, это преувеличение (сладостное для души моей, признаюсь!), ибо героического я ничего не совершил. Но вел я себя так, что сам стал уважать себя раз в десять больше, хотя уже опыт в горах был достаточен для самопроверки...

Теперь «воинственный период» моей жизни пока окончен. Результат его — масса впечатлений, материалов, и главное — меня принимают в партию по боевой характеристике...

Сейчас меня поставили во главе работы над книжкой «Черноморцы о своих боевых делах». Идея книжки моя, и, по-видимому, я буду ее основным редактором...

Я очень доволен ходом моей здешней жизни, и воистину было бы нескромным требовать большего... Почти всегда я нахожусь в состоянии

творческой радости. Передо мной прошел и проходит целый калейдоскоп лиц, в которые я вглядываюсь с трепетным интересом...

Милая мама! Ты обо мне не беспокойся. Были опасные дни, но через это необходимо пройти, иначе мое развитие пошло бы вкривь и вкось. Теперь это позади...

11 октября 1942 года

Моя дорогая, только что закончил I часть второй книги «Былого и дум». Хочется поделиться с тобой впечатлением...

Эта часть посвящена любви Герцена и Натали Захарьиной, его кузине и будущей жене. Любовь эта была, видимо, чудесна. Он пишет о ней с таким поэтическим чувством! И невольно я думаю о твоей любви с папой и мечтаю о страницах, которые ты посвятишь ей.

Нужно сказать, что, несмотря на все обаяние этой части, в ней есть один недостаток: конспективность. Такие вещи хочется читать без конца, наслаждаться каждым словом. Все обстоятельства, вся обстановка — все волнует, все хочется знать до мелочей.

Я думаю, что чтение этого куска книги вдохновит тебя на воспоминания... Ведь есть что-то даже общее между вашим с папой романом и романом Герцена и Захарьиной.

Пиши, мамочка, пиши! Я все больше прихожу к выводу, что путь, выбранный и мною и тобою (то есть «написание своих жизней»), — это самый интересный и нужный... Самые лучшие выдумки бледнеют перед правдой жизни человеческой. И ничто так не может увлечь читателя, как личная книга. И я все чаще думаю, что фантазию, вымысел нужно смирять максимально. Или, точнее: их нужно в твоей и моей работе сделать слугами правды — они должны воскрешать своей силой реальность, но не вторгаться в нее, не ломать ее. Ты понимаешь мою мысль!..

25 января 1943 года

Моя дорогая мамочка! Я давно собираюсь написать тебе большое письмо. Сейчас у меня есть возможность это сделать...

Жизнь моя проходит очень интересно, а главное, почти всегда имею возможность работать над собой. Сейчас я готовлю новый доклад — по пьесе «Фронт» и доклад по повести «Радуга» Василевской. Если моряки проявят к этому интерес, то я смогу провести целый «цикл лекций», а это принесет большую пользу и им и мне. Я совершенно свободно разговариваю с большой аудиторией... Только — работать, работать над собой надо!..

Сейчас я приступил к большой повести (собираю материал) «Мой корабль» (записки военфельдшера Синеокова). Сюжет такой: на героический корабль, высаживающий десанты, приходит «лекпом» (то есть лицо, заменяющее военного корабельного врача) — молодой человек, давно рвав-

шийся в море, и героине войны. Попав на корабль, он чуточку разочаровач, так как мечтал о крейсерах, эсминцах — красавцах, богатырях моря. Однако чем дольше он живет на своем корабле, тем больше начинает понимать его великолепные качества, а главное — преисполняется любовью к людям корабля... Вместе с тем и сам он все больше из гражданского растяпы, только переодетого в военный мундир, становится воином...

Кроме того, я работаю над короткими новеллами, над историей корабля, читаю Белинского, Брандеса, Шекспира (по-английски), шлифую пьесу, иногда пишу песни. Кстати, позавчера у меня был сюрприз: Московское радио передавало мой очерк «Поединок», о котором я писал вам и вырезку которого послал...

Мамочка, сердце! Я так мечтаю о встрече с тобой, с Аленушкой, с Анюткой... Но для этого нужны две победы. Нужно победить немца. И нужно победить жизнь. И пока нет этих побед, я заглушаю в себе мечту о вас, — вернее, мечту увидеть вас «на днях». Но все-таки я верю, что встреча не за такими уж неприступными горами, как может показаться. Враг бежит!..

4 февраля 1943 года

Любимые мои! Сейчас я стою перед важным моментом моей жизни: иду в сложную морскую операцию. Чем она кончится для меня! Я уверен, что мой «демон» оградит меня от вражеских пуль и снарядов. Но все же... Все же мне хочется сейчас, когда все готово к битве, когда от рева пушек, грохота бомб и воя мин меня отделяют несколько часов, сказать вам, как безмерна моя любовь к тебе, мама, к тебе, Аленушка, и Анютке, к моей Родине, к жизни.

Я люблю вас! Эти слова я твержу, как девиз. Я люблю вас — и поэтому я иду на опасность, я хочу быть достойным своего счастья... И такого народа, как мой народ!

Мы будем высаживаться на вражеский берег. Наш удар будет стремителен и внезапен, как удар молнии. Пережив эту ночь, я возмужаю на десять лет и приближу нашу встречу...

Я оставляю свободное место. Это письмо будет окончено после боя...

5 февраля

Дорогие! Все прошло хорошо. Я жив и здоров. Пользуюсь случаем, чтобы отправить это письмо. Более подробно напишу вам в следующем письме...

23 февраля 1943 года

Моя дорогая мамочка!

Сейчас я ощутил великое счастье. В кают-компании канонерки «Крас-

ная Грузия» разгорелась дискуссия по вопросу о... моем излишнем мужестве. Спорили о том, правильно ли я поступил, когда во время десантной операции, под градом пуль, в грохоте канонады, оставался на командирском мостике рядом с командиром корабля, капитаном III ранга К...

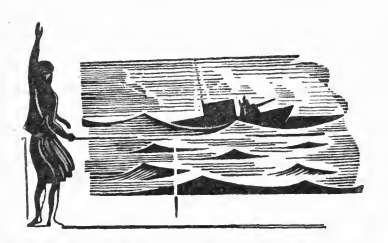
Это дело уже прошлое, так что ты не беспокойся. Но я утверждаю, что поступил правильно, ибо К. должен был стоять, и он остался бы один, без моральной поддержки, без «чувства плеча». Я, как писатель, обязан был быть рядом с ним — ведь я же не смогу писать о героях, подглядывая за ними из-за прикрытия, правда! Во мне же должно быть кое-что от них, иначе все мои писания будут эрзацем...

Тут говорили, что, мол, вдруг бы вы погибли, — кто бы тогда написал! Но я же не погиб! И К. невредим. А чувство веры в себя завоевано. Завоевано мужское уважение к себе...

20 марта 1943 года

...Судьба моя вступила в новую полосу — «мирного строительства». С тех пор как мы расстались, я многое перевидал, о чем уже писал вам... Я был в горах, на корректировочном посту, и опасность гибели только обостряла остроту восприятия потрясающей красоты Кавказа, расстилавшегося под нами огромным ковром. Потом я ходил на боевом корабле и участвовал в десантных операциях...

Теперь жизнь настоятельно поставила передо мной задачу (а вместе с жизнью и начальство) — реализовать все свои впечатления в произведениях. У меня большие планы: «Черный комиссар» (пьеса), «Десант» (пьеса), «Мой корабль» (лирическая повесть)... А пока я пишу листовки. Это тоже полезное дело, и я стараюсь делать их с большевистской страстностью... Сейчас у меня зарождается замысел большой эпопеи о войне... Книга будет о советских девушках — героинях этой войны (на Черном море). Центральный образ уже для меня вполне созрел, и ты поймешь почему: это ты, моя дорогая мама. Да, я при помощи волшебной палочки — искусства — произведу чудо... Тебя, какой я тебя понимаю, я проведу сквозь ад войны... Конечно, внешние события будут совсем иными, чем то было у тебя, ибо — другая эпоха, другой характер жизни... Но внутренний механизм сердца, чувств, мысли — все это будет твоим, мама. Ты, с твоим высоким романтизмом, с твоей нежностью, волей, фантазией, с твоим великолепным размахом. Ох, как увлекает меня эта работа!..



НА КАТЕРАХ — ОХОТНИКАХ

ИЗ ЗАПИСОК ФРОНТОВОГО КОРРЕСПОНДЕНТА

...Лейтенант Русанов неторопливо шел по набережной прекрасного города Сухуми, и весь облик его словно бы говорил: «Мне глубоко безразлично, что вы обо мне думаете и нравлюсь ли я вам или нет. Вы живете в тихом цветущем уголке, который немцы бомбили всего лишь один раз, а я... Эх, посмотрели бы вы на меня там — в огне, в грохоте войны!..»

На нем были кожаный командирский реглан, потускневшая от непогод «финка», кожаные брюки и высокие рыбачьи сапоги, просторные голенища которых собрались твердыми чугунными складками. Поразительные контрасты соединялись в его лице. Это было и лицо юноши с мягкими чертами, улыбающимся ртом, большими, прямо-таки ребячьими карими глазами, и в то же время это было лицо настоящего моряка с огрубелой, обветренной кожей, резкими складками под скулами и на лбу, придававшими ему выражение мужества и энергии.

— С возвращением, лейтенант! — окликнул я его.

В ответ он протянул мне свою крепкую руку, а глаза его затеплились лаской.

— Опять с торпедными катерами воевал! — сказал он и махнул рукой. — Не принимают, черти, боя. Из автомата дадут несколько очередей и жмут на всю железку — не догонишь!.. — Он пожал плечами, как бы удивляясь нежеланию немцев померяться с ним силою.

— Эх, пойти бы мне с тобой, лейтенант! Не поможет ли тебе моя счастливая звезда поймать хоть один катерок?

Слова мои мигом воспламенили его:

— А и в самом деле! Ей-богу!.. Пошли в следующий раз?

Сказать правду, за секунду до этого в мои намерения не

зходило отправиться с лейтенантом Русановым в Цемесскую бухту охотиться за немецкими торпедными катерами. Я собирался воспользоваться оказией и пойти на его кораблике из Сухуми в Поти, куда он должен был, как мне сообщили, отбыть сегодня ночью и где меня ждало много незавершенных дел. О «счастливой звезде» своей и совместном походе я сболтнул просто так, мимоходом. Однако энтузиазм лейтенанта Русанова передался и мне. Мы весь вечер пробродили с ним под эвкалиптами и пальмами Сухуми, обсуждая план захвата вражеского торпедного катера. А ночью мы ушли в Поти...

...Несколькими днями позже, рано утром, в комнату, соседнюю с кабинетом начальника конвоя Потийской базы, где я временно устроился, вбежал лейтенант Русанов.

Он был чисто выбрит. На его «финке» сияла новая, недавно пришитая эмблема.

— Ты обещал в следующий раз пойти со мной на операцию. Мы и план разработали. Помнишь?

Я кивнул головой.

— Вот и прекрасно! — воскликнул Русанов. — Завтра утром выходим в район Новороссийска!

Как на беду, у меня было слишком много дел, чтобы я мог сейчас принять его предложение. Я сообщил об этом Русанову, и лицо его, только что светившееся возбуждением, мгновенно погасло.

— Значит, не можете? — пробормотал он, переходя на «вы» и избегая глядеть мне в глаза. — Ну, тогда... что ж... Пока...

— Счастливого плаванья! — сказал я, быть может с излишней горячностью, и крепко сжал руку Русанова.

— Пока, — повторил он и ушел.

В сердце моем шевельнулось тягостное чувство. Чем больше я старался отвлечься от него, тем злее грызло оно меня. Несомненно, на лейтенанта Русанова моя ссылка на какие-то неизвестные ему дела, удерживающие меня здесь, должна была произвести впечатление замаскированной трусости.

Придя к такому заключению, я внезапно почувствовал, что все эти мои неотложные дела невыносимы, убийственны, что я зачахну от них, что их необходимо отложить, отодвинуть. Я вскочил и, поспешно надев китель, зашел к соседу своему, капитан-лейтенанту Кузьмину.

— Чем могу быть полезен? — сурово спросил капитан-лейтенант, смотря на меня исподлобья.

Я сказал ему, что мне необходимо в ближайшее время быть з Геленджике.

— Оказии нынче вечером не будет, — ответил мне капитан-

лейтенант, — но утром, в шесть ноль-ноль, отваливает от стенки катер МО-091 и, если вы... — Он написал что-то на бумажке и протянул мне: — Передадите командиру.

Я вернулся в свою комнату, очень довольный: несмотря на раннее утро, «счастливая звезда» сияла над моей головой.

Решив подогнать свои дела, я работал до поздней ночи и чуть было не проспал. Утром проснулся, взглянул на часы и обмер: было без десяти шесть.

Быстро оделся, схватил вещевой мешок и помчался к десятому причалу.

— Лейтенант Русанов! — закричал я отчаянным голосом, увидев, что катер отваливает от стенки. — Стой! Я с вами!

Русанов обратился к стоящему рядом с ним на мостике незнакомому мне командиру, тот кивнул головой, и катер подошел к причалу.

— А как твои неотложные дела? — спросил Русанов.

Я только рукой махнул. И улыбка, озарившая лицо лейтенанта, разом уничтожила во мне все сомненья в верности моего решения.

Город с его бесчисленными корабельными мачтами, броневыми башнями боевых кораблей, далекими серебряными горами, словно выгравированными на бледной синеве неба, стремительно уменьшался, в то время как зеленовато-голубая полоса между катером и Потийским брекватером все увеличивалась, все расширялась.

Мы шли на север — туда, где кипела война...

...Итак, дорогой читатель, вы вступили со мной на узкую палубу морского охотника МО-091.

Для вас все здесь ново, все незнакомо. Ко всему вы приглядываетесь с невольной робостью новичка. Вот я и хочу рассказать вам о том, что я услышал об этом маленьком кораблике от своих товарищей. Узнав его прошлое — мужественное и прекрасное, — ваше сердце наполнится гордостью и любовью к нему.

Первый рейс корабля был необычен. Морской охотник плыл над землей на железнодорожной платформе. Краснофлотцы стояли на вахте у его прикрытых парусом пулеметов, а мимо проносились мирные просторы нашей Родины. Рожденный на севере, он должен был действовать на юге. И как действовать! На всех испытаниях он показал хорошие мореходные качества: быстроту, маневренность, остойчивость.

А что за судьба у этих корабликов, на одном из которых мы с вами находимся! Часто думается мне: «Совсем человеческая

у тебя судьба, катер-охотник МО-091!..» Было сначала детство, когда его повезли на юг и решительно никто из тех, кому довелось увидеть поднятое на платформу суденышко, не мог себе представить, через какие испытания пройдет оно, как невозможно себе представить, глядя на какого-нибудь мальчугана, что̀ за человек перед нами...

Никто не догадывался вначале, какой чудесный кораблик морской охотник. Считалось, например, что он может выходить в плаванье лишь при пятибалльном шторме. Но однажды осенью буря унесла в море шлюпку с пограничниками, и на выручку им был послан МО-091. Рассекая волны, катер отважно ринулся в грозный морской простор. Он карабкался на водяные горы и стремительно соскальзывал с них в водяные ущелья. Десятки тонн воды прокатывались с борта на борт по палубе. Шторм достиг десяти баллов, и крен был настолько велик, что пулеметы касались дулами пенной поверхности моря. Водой наполнялись кубрики и камбуз. Все средства откачки были пущены в ход. Но этого оказалось недостаточно: личный состав, используя короткие промежутки между ударами волн, вычерпывал ведрами воду из отсеков. И когда кораблик возвратился со спасенными пограничниками в порт, все смотрели на него с величайшим уважением: он выдержал трудный экзамен на «морскую зрелость».

Наступили памятные дни освобождения Бессарабии, и МО-091 одним из первых вошел в воды Дуная. Набережная была переполнена народом. Люди радостно встречали советский катер и бросали букеты цветов на его палубу. Так началась его юность.

Стремительно проносился сторожевой катер пограничной охраны по мутным водам Дуная, которые, не знаю уж почему, именуются «голубыми». И на том, чужом берегу, забытые, бедно одетые «руманешты» с робким удивлением следили за его быстрым бегом. И дряхлый румынский военный пароходик, страшась пенистой волны, сопровождавшей советский кораблик, шарахался от него в сторону, жался к берегу.

А потом пришла война.

Утром первого же дня, когда МО-091 был в дальнем дозоре, неожиданно напала на него стая «юнкерсов». Катер чертил по воде маневренные зигзаги. Столбы брызг от рвущихся бомб вздымались вокруг него. От непрерывной стрельбы раскалились стволы его орудий. Ни одна бомба не причинила катеру вреда. «Юнкерсы» исчезли так же неожиданно, как прилетели...

На следующий день катер появился у противоположного (теперь вражеского) берега и обстрелял пограничные пикеты.

В те первые дни войны ходил морской охотник в конвое, сопровождая наши транспорты, за которыми охотились «юнкерсы». И тогда же он сбил первый вражеский самолет. Последним покидал он Николаев, Очаков, Одессу, вступая в бой с врывавшимися в города гитлеровскими танками. А потом, под покровом ночи, он снова возвращался в оставленный порт, меткими залпами топил вражеские суда, расстреливал фашистов на берегу.

Ничто не пугало маленький кораблик, ничто не останавливало его — ни смертельная опасность, ни свирепые зимние штормы. И если дул норд-ост, морской охотник все равно шел вперед, превратившись в безобразную глыбу льда, отяжелев, погрузившись по самые иллюминаторы в ледяную воду.

Если же где-то в море наш корабль терпел бедствие, — кто же, как не маленький катер-охотник, спешил на помощь? И пусть ему самому грозила гибель, пусть вокруг тонущего судна растекалась пылающая нефть, он не останавливался ни перед чем, спасая драгоценные человеческие жизни. И везде, где кипела битва, был он — маленький военный кораблик МО-091. Это он прорывался в Азовское море под ураганным огнем фашистских артиллерийских и минометных батарей; это он тайком заходил в Таганрогский и Мариупольский порты и сбрасывал там мины, на которых рвались потом корабли врага; это он раньше всех ворвался в Феодосийский порт и высадил первый десант. И это он, маленький стойкий кораблик, пошел в Севастополь, отбиваясь от десятков и сотен вражеских самолетов, снял с берега группу героев-моряков — нашу гордость, нашу славу — и доставил их в наши порты.

Потом военная судьба привела МО-091 к побережьям Кавказа, где он и стал героически сражаться с врагом, умножая своими подвигами славу Военно-Морского Флота на Черноморье. В дружбе со своими братьями — торпедными катерами, тральщиками, подводными лодками, — в тесном взаимодействии с морской авиацией и береговой артиллерией, бросался он в решительные схватки с гитлеровцами и всегда оказывался победителем..

...Как только морской охотник МО-091 вышел в открытое море, незнакомый командир, стоявший вместе с Русановым на мостике, сошел вниз и уселся рядом со мной на стеллажах с глубинными бомбами.

— Помните, у Горького: «Море смеялось»? — спросил он, глядя в морской простор.

Легкий южный ветер гнал к берегу маленькие волны, и каждая из них в какое-то мгновенье отражала солнце. Вся поверхность моря переливалась, словно покрытая неисчислимыми, ослепительными световыми взрывами. В самом деле, казалось, что море лучезарно смеется...

— Вот скажите, — продолжал незнакомый мне командир, — по какой такой причине у нас нет крупных художников-маринистов? Не вдохновляет море, что ли? Или умения нет?

— Вам, что же, второго Айвазовского хочется?

— Хотя бы и Айвазовского... Впрочем, я не только о живописи говорю. То же и в литературе...

Я с удивлением слушал его. Он был невелик ростом, хорошо сложен. Энергичное лицо его покрывал весенний загар, и на фоне загара ярко светились бледно-голубые пронзительные глаза.

— Вот возьмите нашу жизнь морскую! — продолжал он после некоторой паузы. — Ведь не только в самом море, в его закатах, восходах, ночах есть красота. И в жизни людей на море есть и красота и поэзия, — разве не так? Но только нужно, чтобы эту красоту, поэзию раскрыли для нас. А кто может ее раскрыть? Тот, кто зорче нас. А зорче нас кто? Считается — художники, люди искусства! — Он рассмеялся. — Как они нас, моряков, показывают? Есть одна песенка, и в ней такие слова: «Белозубая улыбка и чечетка в каблуке». Вот образец, эталон моряка в их понимании. Белозубая улыбка и чечетка в каблуке — и все тут. Ну, а сверх того, разумеется, готовность геройски умереть с каким-нибудь лозунгом на устах... До того просто получается — проще, как говорится, пареной репы... — Он опять рассмеялся, потом задумался. — Конечно, после войны все по-другому будет. Но сейчас как-то обидно... Вот посмотрите: стоят матросы. Я уверен, что для вас они как две капли воды похожи один на другого. Ведь правда? А почему? Потому что вы еще не имели времени вглядеться в них, изучить, проанализировать, — не так разве? Вы воспринимаете пока только то, чем они друг на друга похожи, а не то, чем они друг от друга отличаются. И я думаю — то же самое и у художников наших во всех областях: они показывают то, чем мы друг на друга похожи, а не то, чем мы друг от друга отличаемся. А мы все разные, все непохожие! И это как раз и есть самое интересное в людях, самое поэтическое — черты их несходства!

Он замолчал, а его бледно-голубые глаза требовательно и выжидающе смотрели на меня.

Я попробовал было вступиться за наше искусство, подвергшееся столь неожиданному нападению, но соседник мой тотчас перебил меня.

— Что вы толкуете?! — воскликнул он сердито. — Где у нас образ, живущий содержательной, сложной внутренней жизнью? Может быть, вы еще скажете, что нет у нас таких в действительности?

— Во всяком случае, хорошо, — примирительно сказал я, — что у советского морского офицера возникают такие вопросы...

— А что вас, собственно, удивляет? Советский офицер всем должен интересоваться! Должен, а на деле? Мы и по-русски-то часто варварски разговариваем. Ведь сколько сквернословим — жуть! Отвращение! До того привыкли, что считаем это даже достоинством — «люблю, мол, крепкое русское словцо».

«Интересный человек», — думал я, слушая сердитого командира.

В манере говорить, в выражении его лица была какая-то привлекательная саркастическая веселость, но ничего желчного, озлобленного.

— Кстати, мы с вами еще не познакомились — Виктор Снежков, старший лейтенант.

Мы обменялись рукопожатием.

Тут к нам подошел лейтенант Русанов и тоном гостеприимного хозяина сказал:

— Прошу в кают-компанию!

Мы спустились в люк и вошли в маленькую, уютную каютку, за переборками которой мелодически позванивала набегавшая зыбь.

За столом сидели помощник командира, младший лейтенант Преображенский («пом») и механик Леутский («мех»).

«Меха» я знал довольно хорошо. Совсем недавно к нему возвратилась из только что освобожденного от гитлеровцев Краснодара его жена с двухлетним, как две капли воды похожим на отца сынишкой. Отчасти по этому случаю, а отчасти по случаю первомайских праздников «мех» вместе с командиром дивизиона катеров-охотников, молодым, дьявольски энергичным капитан-лейтенантом Гнатенко, устроили в семейной обстановке вечер, на котором довелось побывать и мне. Все веселились от полного сердца. Гнатенко, обняв жену «меха», руководил хором гостей, которые пели украинские песни. А сам «мех» ласкал и нежил своими большими руками сынишку.

Оба они — и «мех» и «пом» — улыбнулись, увидев меня.

— Вы с нами, надеюсь, выпьете, или, как говорится у моряков, стукнете? — спросил «пом».

Мы «стукнули» по норме за успешное плаванье, после чего «пом» и «мех» стали продолжать ожесточенные дебаты, начатые ими без меня, из которых я понял лишь одно: речь шла о морской культуре. Что это такое — я очень скоро увидел на практике.

— Надо пойти к городской пристани принять воду, — сказал после обеда лейтенант Русанов.

Зазвенели прерывистые сигналы аврала, и наш катер осторожно выбрался из рядов своих близнецов и пошел, пересекая золотисто-голубую Геленджикскую бухту, к белеющему среди зелени полуразрушенному немецкими бомбежками курортному городку. К городской пристани шли одновременно еще два катера.

Геленджикская бухта была сильно засорена минами, сброшенными на парашютах немецкими самолетами, а поэтому в ней был намечен особый фарватер, по которому и следовало ходить всем кораблям, находящимся в бухте. Однако Русанов помчался напрямик, перегоняя два других катера. Те «нажали на железки» и тоже понеслись, забыв о фарватере. Русанов дал по телеграфу «самый полный», подняв при этом «шара» на малый ход, то есть до самого верху, чтобы посмеяться над отстающими катерами. Лицо его светилось азартом, и он то и дело хватался за бинокль, направляя его на соперников, смеялся и говорил: «Черта с два, чтобы кто-нибудь перегнал МО-091!»

Однако «пом» Преображенский совсем не разделял восторга Русанова.

— Безобразие, — недовольно твердил он, топчась рядом с лейтенантом на мостике, — ты просто забыл о морской культуре. Это безграмотно!

— Что безграмотно?

— Да как же? Указан особый фарватер, и ты обязан следовать указаниям!

— Ты что, подорваться боишься?

— Ничего не боюсь. Но если мы подорвемся, ты будешь отвечать!

— Не можем мы подорваться на таком ходу, сам ты безграмотный. Как же мы подорвемся, если катера по заданию подрывают таким ходом мины? Наоборот, честь нам и хвала, если мина взорвется: одной будет меньше, а нас только встряхнет немножко...

— Это еще неизвестно, как встряхнет. Может так встрях-

нуть, что и душу вытряхнет! Ведь никто тебе не приказывал сейчас подрывать своим ходом мины... Так какого же черта...

— А ты считаешь, что обязательно нужно ждать приказа? Гляди, гляди, как отстали! Если всегда ожидать приказаний, так... Нет, врете, где уж вам! Вздумали обогнать МО-091!.. Если всегда ждать приказания, тогда никакой инициативе места не будет!

— Инициатива должна быть разумной. Вот если подорвемся, то скажи, пожалуйста...

— Гайка слаба нас догнать. Смотри, отстают как...

— Да ну тебя с твоими гонками! Одно дело, если ты по приказу пошел подрывать мины, а другое дело, если из одного озорства катер погубил. Ведь я же обязан обозначить в документах, каким курсом мы шли, согласись сам!

— Ну и обозначай — шли наперерез бухты... Э-э! Они совсем выдохлись! Боцман! Покажи им конец, пускай знают, как с нами состязаться!

— Ты просто мальчишка! А еще кончил штурманское отделение. Ровно никакой морской культуры!..

— Морская культура! Если бы я на большом транспорте шел, тогда я соблюдал был фарватер...

— Что ж, по-твоему, для охотников и закон не писан?

— Конечно! Охотник должен быть как молния, и не нужны ему никакие фарватеры!

Как известно, истинное мастерство и лихость командира проявляются при швартовке. Русанов подлетел к городской пристани на всех парах, потом дал «стоп», сразу «задний» и впритирку встал у соседнего катера.

— Должен вам сказать, командир, — сказал старший лейтенант Снежков Русанову, когда катер застыл без движения, — младший лейтенант Преображенский прав: нельзя так!

— Я сам знаю, что делаю, и как командир отвечаю за свои действия! — вспыхнул Русанов.

— Мне придется доложить обо всем командиру звена...

— Я сам доложу, — ответил Русанов и, козырнув Снежкову, отвернулся.

Снежков пожал плечами. Когда мы отшвартовались, он сбежал по трапу на берег, помахал нам всем рукой и быстро пошел по направлению к городу...

Пристань была облеплена со всех сторон «тюлькиным флотом» — сейнерами, принимающими с тяжелой баржи грузы для десанта на Малой земле.

До нас явственно доносились грузинские и русские выкри-

ки. По пристани осторожно пробиралась трехтонка. В стороне несколько полуобнаженных матросов мылись возле сверкающей на солнце струи воды, бьющей вверх из продырявленного шланга, и тут же, рядом с ними, стояли две девушки с ветками сирени, видимо поджидающие с моря своих друзей. Солдаты, преимущественно кавказцы почтенного возраста, с большими усами, осыпанные мучной пылью, перетаскивали мешки к сейнеру и спускали их по доске в темноту трюма, а командир маленького судна наблюдал с мостика за их действиями, время от времени покрикивая: «Да осторожней, черти, ведь не железо!»..

Нет! Совсем иной воздух в прифронтовых городах! Пусть они изранены фашистскими бомбами, пусть смертельная опасность днем и ночью висит над их обитателями, но есть что-то деятельно-радостное в этих людях, лихорадочно работающих на фронт и связанных с ним самой непосредственной близостью.

Отведя взгляд от пристани, я вдруг увидел на одном из сейнеров нечто заставившее меня поспешно схватиться за бинокль. Как по волшебству, сейнер оказался перед самым моим носом, и я в мельчайших подробностях разглядел его залитую солнцем палубу и надстройки. На палубе я увидел девушку с длинными черными косами, смугло-золотистым от загара лицом. На ней было легкое платьице и голубая, выцветшая на солнце бархатная жакетка. Ноги ее были босы, а в руках она держала несколько поленьев, из чего я заключил, что на сейнере девушка исполняет обязанности кока. Как назло, сейнер начал отходить, уступая место шхуне водолазов, и остановился довольно далеко в море...

К вечеру Русанов получил задание. Мы должны были войти в ударную группу, состоящую из трех катеров. Задача наша заключалась в том, чтобы проводить караван сейнеров, или «сеньоров», как их называл Русанов, до мыса Дооб, после чего уйти в море и на траверзе мыса Мысхако лечь в дрейф, зорко высматривая, не появятся ли где торпедные катера врага. Если мы их заметим — немедленно атаковать. Два других катера должны были следовать с караваном до места назначения.

Меня очень занимал вопрос, где будет катер МО-098 Снежкова — с нами или с двумя катерами охранения. Выяснилось, что у Снежкова совсем иное задание, крайне меня удивившее: вместе с другим катером он должен был «транспортировать танки». Каким образом это было возможно, я совершенно не представлял себе.

Солнце уже зашло, когда мы покинули Каменную пристань.

Катер, назначенный флагманом, поднял флаг «Следовать за мной в кильватере» и пошел к выходу из бухты.

На полном ходу мы вылетели из горловины Геленджикской бухты и, отойдя мористее, легли в дрейф, ожидая каравана.

Медленно, чихая и чадя, выходил на морской простор «тюлькин флот».

— Героические люди! — сказал мне Русанов, следя в бинокль за неспешными маневрами маленьких неуклюжих кораблей. — На них полдела держится, а ведь скорлупки!..

Сейнеры, одни с мачтами, другие без мачт, одни пузатые и высокие, другие низенькие и какие-то угловатые, шли по сверкающему, как сталь, вечернему морю, волоча за собой мотоботы, груженные автомашинами, пушками и бойцами.

Идут маленькие неуклюжие кораблики, рискуя каждую секунду с грохотом, в дыме и огне взлететь в воздух, идут, чтобы доставить солдатам хлеб и снаряды. А наш катер охраняет их, готовый погибнуть, но не позволить врагу приблизиться к этим драгоценным для нас суденышкам. И на одном из них идет девушка-кок, черноволосая, с золотисто-смуглым лицом, такая же бесстрашная, как и моряки на охотниках...

— А вот и Снежков! — сказал Русанов. — По корме слева, градусов десять.

Я перевел бинокль в направлении, указанном мне лейтенантом, и увидел черный, точно нарисованный китайской тушью на светлом фоне моря катер-охотник, за которым двигался такой же черный танк.

— На сдвоенных мотоботах перевозят... Остроумно! — сказал «пом», который тоже смотрел в бинокль.

— Сигнальщик! — крикнул Русанов. — Напиши ему семафор: «Счастливого плаванья грозе фашистов — бесстрашному охотнику МО-098!»

Сигнальщик замахал флажками.

В ответ на катере Снежкова замелькал огонек.

— Что он пишет? — спросил я.

— Сейчас... Он пишет: «Желаю успеха катеру МО-091 — будущему гвардейскому!» Что бы ему ответить? Вот что, пиши: «Служу Советскому Союзу!»

И сигнальщик снова замахал флажками...

Доведя сейнеры до траверза мыса Дооб, мы оставили караван и пошли дальше, к мысу Мысхако, а от него — в глубь моря.

Была уже ночь, за катером вился по черной поверхности воды бледно светящийся хвост.

Мы отдалились от Новороссийска и Малой земли, где пры-

гали, мигали огоньки, казавшиеся отсюда такими веселыми. То были трассирующие снаряды и пулеметные очереди. Порой то там, то тут образовывались маленькие смерчи разноцветных искр — счетверенные вражеские пулеметы били по нашим ночным бомбардировщикам. Часто в воздух из-за горы взлетали сверкающие зеленовато-золотые шары осветительных ракет, и в бинокль можно было разглядеть маленькие парашюты, на которых они повисали, казалось, совершенно неподвижно. И тотчас со всех сторон к ним протягивались огненные пунктиры — это снайперы тушили ракеты, расстреливая их в воздухе.

Мы достигли указанного в задании квадрата, и моторы были выключены. В первое мгновение показалось, что наступила полная тишина, но сейчас же слух уловил шумы, которые заглушались рокотом моторов. Высоко, где-то над нашими головами, уныло жужжал «фокке-вульф», со стороны берега доносились какие-то негромкие похлопыванья и потрескиванья — там, далеко на суше, шел ночной бой.

«Фокке-вульф» все кружил и кружил над нами. Запрокинув голову, я тщетно старался разглядеть его силуэт на фоне мерцающих звезд. Странно было думать, что над нашими головами кружится вражеская машина, что в ней сидят люди, посчитавшие бы эту ночь весьма удачной для себя, если бы им удалось сбросить на нас бомбы и превратить наш катер в бесформенную массу, которая медленно ушла бы в глубины моря...

Внезапно над самым катером нашим засияла маленькая яркая луна — одна, вторая, третья... Это «фокке-вульф» осветил море, чтобы найти нас. Море засеребрилось, заискрилось, и тут же что-то просвистело в воздухе, и где-то, не очень далеко, громыхнули разрывы бомб.

— По нашему адресу? — спросил я, чувствуя холодок, шевельнувшийся в душе.

— А черт его знает! — ответил Русанов и тут же приказал: — Окатить палубу!

Один из матросов принялся набирать брезентовым ведром, привязанным к длинному концу, воду и поливать палубу, которая казалась фосфоресцирующей, отражая свет ракет. Политая водой, она стала темной, слилась с поверхностью моря.

А «фокке-вульф» все кружил и кружил, жужжал и жужжал над нами...

Хрустальным голоском торопливо лепетала что-то вода под кормой плавно покачивающегося нашего кораблика, и под этот ласковый лепет, в полудреме, отдался я свободному полету мыслей...

Перед внутренним взором моим вставали образы любимых далеких людей — матери, жены, друзей, и, горделиво усмехаясь, я представлял себе, как бы они переволновались, как бы перемучились за меня, зная, что я нахожусь здесь, на этом крошечном, притаившемся в ночной темноте кораблике, над которым с унылым гудением парит, как у нас любят говорить, «фашистский стервятник»... И тут же переносился мечтой в послевоенное будущее, видел себя в кругу близких повествующим об этой ночи. И чувство легкого тщеславия на миг овладевало мной, и в ушах звучало: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...» И этим самым «дядей» был не кто иной, как я сам...

Но тут же мысли мои уносились туда, на темный берег Малой земли, и сердце сжимала тоска за тех, кто был там, в огненном окружении смерти. И я уже стыдился своих горделивых мыслей и мечтаний, думая о том, сколько любимых и далеких никогда не услышат рассказов своих защитников...

И тогда, стряхнув с себя полудрему, я впивался в темноту в надежде, что именно я обнаружу врага. Я таращил глаза до тех пор, пока мне не начинало казаться, будто я вижу черный силуэт вражеского торпедного катера, и я с легким замиранием сердца брал бинокль, готовясь предупредить Русанова об опасности. Но тотчас же убеждался, что вражеский торпедный катер существует только в моем воображении, а на самом деле вокруг нас мерно колышущееся пустынное темное море...

— Заснул? — смеясь, спросил Русанов, легонько встряхивая меня за плечо. — Предложил бы я тебе пойти вниз отдохнуть — ведь целую ночь простоял... Да мы сейчас уходим, и в кают-компании опасно оставаться: нарвемся еще на акустическую — и не вылезешь...

Я ошеломленно оглядывался кругом себя. Край темного неба приобрел тот кирпично-рыжий оттенок, который предшествует заре. Звезды стали бледнее, меньше, и не было осветительных ракет над моей головой.

— Светает? — спросил я.

— Светает, — ответил Русанов и взялся за телеграф.

Хлопнул залп моторов, и мы помчались в сторону Геленджика.

Море было светло-серебристым, а в прозрачном, бледно-лиловом небе оставалась всего лишь одна-единственная утренняя звезда. Редкие облачка наливались розовым светом...

— Зимой на катерах несладко, но зато летом... Где может быть лучше? Курорт! — говорил лейтенант Русанов, с разнеженной улыбкой глядя на палубу своего корабля.

И в самом деле — здесь было превосходно. Палуба превратилась в небольшой солярий. Катерники после утомительной ночи дозора отдыхали, загорая. Тут и там лежали они, полуобнаженные, еще не успевшие потемнеть от солнечных лучей.

Русанов комфортабельно, как в кресле, расположился на больших глубинных бомбах с левой стороны кормы. Точно так же устроился и «пом» Преображенский, но справа.

— Жаль, что купаться еще нельзя, — сказал он.

— Почему нельзя? — возразил Русанов. — Я так, например, обязательно буду купаться!

— Нет, холодно!

— Так что ж? На солнце обогреемся. Давай?

— Правда, в училище я купался круглый год, — нерешительно поглядывая на зеленовато-голубую воду за бортом, сказал Преображенский. — Мы там даже Клуб моржей основали. Правда, в клубе этом было всего три человека — я, Снежков и еще один товарищ, но он, к сожалению, погиб...

Русанов вскочил, как будто его подтолкнули, вспрыгнул на бомбы, и вот перед нашими глазами мелькнула его стройная фигура, падающая головою вниз... Секунда — и холодные брызги фонтаном взлетели над бортом.

— Совсем теплая вода, честное слово! — кричал он снизу. — Ну-ка, подайте конец!

Ему подали конец, он взобрался на палубу и побежал вниз вытираться.

— Попробовать, что ли? — спросил, не обращаясь ни к кому, «пом» и вдруг, решившись, бросился в воду.

— Ну как? — спросил я.

— Вполне можно купаться! — ответил он. — Подайте конец!

Не вполне доверяя моим друзьям, так как поспешность, с которой они просили подать конец, внушала мне подозрение, я спустился на буртик и, набрав в легкие побольше воздуха, скользнул в воду.

Дух у меня захватило, казалось, ледяной огонь обжег все мое тело. Вода была такой студеной, что у меня сразу заныли и затылок, и руки, и ноги.

— Ну как, хорошо? — спросил сверху «мех» Леутский.

— Чу-чудесно! — ответил я и заорал не своим голосом: — Дайте конец!

Кажется, я вылез из воды с еще большей ловкостью, чем Русанов и его помощник. Но зато как мы наслаждались ласковым прикосновением солнца к нашей покрасневшей, ставшей свежей и упругой коже. Ни с чем не сравнимое наслаждение!

Внезапно мы услыхали за бортом плеск, и знакомый голос попросил:

— Ну-ка, подайте конец!

— Э! Да это старший лейтенант Снежков к нам приплыл! — сказал Русанов. — Привет!

Снежков, в черных, блестящих на солнце плавках, покрытый искрящимися каплями воды, легко переступил через леера.

— Ух, холодная вода! — сказал он.

— Откуда вы взялись? — удивился я.

— А вон мой катер! — отвечал Снежков.

На рейде, метрах в пятистах от нашего, стоял его катер, незаметно подошедший сюда.

— Но как же вы доплыли? — спросил я. — Ведь судороги могли ногу свести. Вода как лед!

Снежков подмигнул «пому».

— Помнишь Клуб моржей?

Преображенский в ответ сокрушенно покачал головой:

— Я уж не «морж» — не тренировался с начала войны!

— Ну, это напрасно, — сказал Снежков, — именно теперь это и нужно больше всего. А ну как подорветесь? Плавать придется! Нет, я «морж», как и был! Еще больше «морж»! — С этими словами он снова переступил через леера и, упруго подпрыгнув, нырнул в воду. Он вынырнул далеко от катера и поплыл спокойно, быстро, плавно вынося одну руку за другую вперед.

— Хорошо! — сказал Русанов.

— Да, хорошо! — подтвердил «пом».

Снежков доплыл до своего охотника. Вот ему бросили конец, и он, взобравшись на палубу, помахал нам рукой.

А жизнь в Геленджикской бухте шла своим чередом. Несколько раз объявляли воздушную тревогу, и тогда с аэродрома с рокотом взлетали наши истребители и начинали кружиться в бледно-голубом небе, а над берегом долго клубилось коричневатое облако пыли, поднятое их взлетом.

Потом над бухтой внезапно взвился гигантский столб воды — целая серебряная башня — и прозвучал грохот взрыва.

— Ого! — воскликнул кто-то из матросов. — Акустическая подорвалась!..

— Сейчас другая подорвется — они всегда штуки три, одна за другой, рвутся, — сказал минер.

Он не ошибся: спустя несколько секунд вторая башня выросла над синевой бухты, а за нею и третья.

Возник спор. Одни говорили, что мины специально подрывали, другие высмеивали первых и говорили, что мины сами

рвались. Все сходились на том, что в районе взрывов должно быть много глушеной рыбы, и жалели, что нет тузика, чтобы пойти на «ловлю». А с катера Снежкова уже спешила тем временем к месту происшествия лодочка.

— Эх, и будет же у них уха! — сказал Русанов.

— Старший лейтенант Снежков не теряется, — добавил «пом».

...Когда мы отшвартовались и я сошел на пристань, небольшая группа матросов, собравшихся на противоположном краю ее над легонько покачивающимся сейнером, привлекла мое внимание.

Точно инстинктом каким-то ощутил я, что их влекло к тому же, что занимало и меня. И я не обманулся. Она, та самая девушка-кок, которую я разглядел в бинокль, была тут, на этом сейнере...

И хотя моряки, стоявшие на краю пристани, по всей видимости, были весьма заинтересованы манипуляциями водолазов, суденышко которых покачивалось тут же, было несомненным, что именно она, смуглолицая девушка в голубенькой жакетке, а вовсе не водолазы привлекла сюда, на край пристани, матросов. Я ловил то один, то другой быстрый взгляд, бросаемый моряками в сторону камбузной надстройки сейнера, где появилась Черноморочка, как я назвал эту девушку про себя. Даже больше того — раза два или три я подметил такие же мимолетные взгляды, брошенные в ту сторону и самими водолазами.

«Как порой однобоко, как несправедливо наше суждение о людях, — думал я, украдкой поглядывая на Черноморочку. — Разве такое уж исключение здесь, в Геленджике, эта девушка-кок? Я сам видел на «тюлькином флоте» по меньшей мере пять девушек-коков. И две из них успели, видно, прекрасно проявить себя — на груди у одной поблескивала медаль «За боевые заслуги», а у другой — медаль побольше — «За отвагу». Ну, что такого, что у нее светло-золотистый загар и темные, почти черные, большие бархатистые глаза? Что тут такого, что у нее пышные черные, чуточку выгоревшие, а потому слегка золотящиеся волосы и маленькие, почти прозрачные уши, за которые она то и дело заправляет локоны, веселыми колечками выбивающиеся из прически? Что из того, что у нее мягкий овал лица и улыбка нет-нет да и промелькнет на ее как бы немного припухших, должно быть мягких и теплых губах? И что из того, что она вся такая ладная, небольшая, с высокой грудью и стройными босыми ногами и движется так легко и весело?..

Разве не так же, как она, другие девушки день-деньской возятся в темном и дымном камбузе, готовя пищу матросам своих сейнеров, и, кто знает, может быть, и гораздо вкуснее, чем она? И разве не так же, как она, каждую ночь вместе со своими сейнерами прокрадываются они к Малой земле и под огнем злобствующих гитлеровцев в бледном сиянии осветительных ракет помогают сгружать на рокочущие, фыркающие под бортом у сейнера мотоботы продукты и боезапасы, а вслед за тем принимают с мотоботов наших раненых и, ласково обвив рукою за талию какого-нибудь перепачканного собственной кровью морячка, бережно отводят его вниз и укладывают на свою койку? Все это, конечно, именно так. И все-таки...»

Между тем девушка делала свое дело — чистила на палубе рыбу, — нимало не обращая внимания на наши взгляды.

Тут я увидел старшего лейтенанта Снежкова с букетом сирени. Он являл собою в эту минуту безукоризненный образец морского офицера. Брюки его были так выглажены, что их складкой, казалось, можно было бы, как лезвием гильотины, отсечь человеку голову. На кителе с высоким воротником сияли надраенные старинные литые пуговицы нахимовского образца. Фуражка, едва приметно сдвинутая на правый висок, поблескивала полированным козырьком. Погоны резко и красиво очерчивали плечи, придавая всей фигуре Снежкова окончательную завершенность.

«Ну и жалок же я в сравнении с ним!» — мелькнуло у меня в голове. В самом деле: замаслившийся летний кителек не по фигуре, брюки с «пузырями» на коленях, коричневые штиблеты, прозванные моряками «улыбкой янки», вызывающе задравшие широкие носы свои кверху, и фуражка, принявшая форму казачьего седла.

— Дайте девушке хоть веточку, — сказал я, силясь придать своему голосу непринужденную веселость.

— Зачем же веточку? Пожалуйста! — ответил Снежков и, нагнувшись с пристани, протянул букет сирени Черноморочке.

Она приняла его с милой улыбкой и поблагодарила.

— Красиво. Очень красиво, — сказал Снежков. — Море. Чайки. И девушка с сиренью...

Он достал из кармана большой носовой платок, разостлал его на краю пристани и сел таким образом, что ноги его очутились на покачивающемся борту сейнера.

— Как вас зовут, девушка? — спросил он.

— Меня зовут Любой, — ответила она после небольшой паузы.

— Любой? Хм... Любовь! Хорошее имя, — сказал Снеж-

ков. — Так что же, Люба, расскажите нам о себе. Вот мой друг, — он назвал мое имя и звание, — напишет о вас очерк для газеты.

Девушка смущенно протянула мне руку.

— Итак, расскажите нам о себе! — повторил Снежков.

— Что же вам рассказать? Во-первых, у меня есть ребенок, — сказала Люба. — Руслан, Русик... — И по тому, как она это сказала, я понял, что в эту минуту она живо представила себе своего мальчика.

— Где же он сейчас? — спросил Снежков, и в его голосе мне послышались нотки удивления: да и правда — странно было узнать, что эта почти девочка уже мать.

— В Сочи, у бабушки с дедушкой...

— А отец его где?

— Отец убит...

— Воевал?

— Да. В морской пехоте.

— Ну, и как же вы теперь?

— Да вот — здесь...

— А родители у вас кто же? И зачем вы здесь, если у вас ребенок? — спросил Снежков. — Знаете новую пословицу: «На войне и убить могут?»

— Хочется участвовать во всем этом, — просто ответила Люба.

— А родители вас так и отпустили на фронт? — спросил я.

— Они не знают, что я здесь. Думают — хожу между Сухуми, Поти и Батумом. К чему их даром тревожить?

— Однако вы решительная девушка, — сказал Снежков.

— Мало таких, как я, что ли?

— Но все-таки как вы пришли к мысли работать на сейнере? — спросил я.

— Так ведь на военный корабль не примут. А я решила на море воевать — отец моряк, ну, значит, и я морячка!..

— Люба, еще один вопрос: как вам живется на сейнере? С ребятами ладите? — спросил Снежков.

— О, мы такие друзья! Ребята мне ничего делать не дают, все стараются помочь, а помочь — это у них значит самим все сделать. Такую чистоту навели... Ведь правда, чистенький сейнер?

Сейнер действительно был на редкость чистенький.

Между тем двое из тех, о ком мы говорили, — два матроса с сейнера, — выбрались из кубрика и с хмурым неудовольствием поглядывали в нашу сторону.

— Не ссорятся они из-за вас? — улыбаясь, негромко спросил Снежков.

— Нет, что вы!.. Раньше на сейнере бывали ссоры, а теперь не бывают, потому что...

— Потому что?

— Когда ребята горячатся, они обязательно начинают бросаться такими словами... А сейчас они знают, что я этого не люблю, и боятся, что сорвутся. Вот и перестали ссориться.

— Значит, облагораживающее влияние женщины?

— Пожалуй, что и так, — серьезно ответила Люба.

Разговор наш был прерван появлением командира сейнера, или, точнее, шкипера. Он поднялся откуда-то из недр трюмных помещений и минуты две молча смотрел на нас, склонив голову набок.

Пожалуй, во всей Геленджикской бухте, на всех «коробках», покачивающихся на ее волнах, не нашлось бы моряка с более неожиданной и живописной наружностью, чем этот шкипер. Он будто сошел со страниц романтических новелл Александра Грина, высокий, сутуловатый. На крепкой буро-коричневой шее сидела небольшая серебристо-седая голова. Самым приметным во всем его облике был огромный нос. Это был романтический нос. Таким носом должен был бы обладать какой-нибудь пират, конкистадор или флибустьер, но никак не рядовой советский гражданин. И если бы не веселый блеск маленьких зеленоватых глаз шкипера, он бы мог показаться зловещей личностью. Впрочем, лицо его смягчали не только глаза, но и большой рот с крупными, поразительно белыми зубами. Рот этот был склонен к добродушнейшей улыбке. Все это выяснилось позже, а сейчас шкипер смотрел на нас со Снежковым не очень-то благосклонно...

На нем был летний китель нараспашку, тельник, брюки из выгоревшего черного сукна, на голове — до невозможности просаленная «капитанка».

— И долго ты будешь сводить с ума морских офицеров? — спросил он Любу ворчливым басом, почесывая рукой подбородок, заросший трехдневной щетиной.

Люба, которая не видела его, вспыхнула, быстро обернулась. Не найдя, что ответить, она растерянно смотрела на шкипера.

— Вот кончится война, — сказал он, обращаясь уже больше к нам, чем к ней, — пожалуйста, тогда сколько угодно. А сейчас — лишнее. Совершенно лишнее!..

Не объяснив точнее, что, собственно, он подразумевал под

словами «совершенно лишнее», шкипер снова обратился к Любе:

— По-моему, кто-то собирался заняться сегодня стиркой?

— Я сейчас, дядя Гриша...

— Будем знакомы, — сказал Снежков, протягивая ему сверху вниз, с пристани, руку.

Шкипер посмотрел сначала на руку, потом в лицо Снежкову и молча обменялся с ним рукопожатием.

— Старший лейтенант Снежков.

— Лысогоров.

— А это мой товарищ, — Снежков представил меня.

Мы со шкипером тоже обменялись рукопожатием.

— Ну, до скорой встречи, Люба! — непринужденно сказал Снежков.

Мы попрощались и отошли от сейнера.

— Забавный старик! — сказал Снежков.

— Черт бы его побрал! — сказал я.

По ослепительно белым в лучах солнца улицам, мимо зданий, которые скорее были похожи на каменные декорации, изображавшие здания, потому что фашистские бомбы уничтожили и крыши их и потолки, оставив лишь наружные стены, — мы со Снежковым прошли на зеленую поляну. В высокой траве пламенели маки, пестрели ромашки. Разостлав свой большой носовой платок, Снежков сел. Я последовал его примеру. Несколько минут мы молчали. Я с удовольствием вдыхал запах моря и согретой солнцем травы.

— Ну так как же? — спросил Снежков. — Неужели влюблены?

Я пожал плечами.

— Ну что вы!.. Я женат! И потом, разве нельзя просто так, по-дружески, заинтересоваться человеком, если этот человек — женщина?

Снежков некоторое время не отвечал. Сорвав ромашку, он задумчиво принялся вертеть ее стебелек между большим и указательным пальцами так, что белый с желтой сердцевиной венчик крутился, как маленький пропеллер.

— Да, — наконец сказал он, — к сожалению, вы правы... Мы думаем именно так: раз заговорил человек с представительницей слабого пола, да что заговорил — поглядел чуть попристальнее, — считают, что он имеет на нее какие-то определенные виды. Взгляд довольно примитивный...

— Впрочем, если хотите, я влюблен, да! — сказал я, тоже сорвав ромашку. — Но влюблен не только в нее, а и в вас, и в Русанова, и в эту бухту, в которой роятся вражеские мины,

и в этот разбитый город, и в его начинающие цвести акации, и в эти истребители, кружащие над нами... Словом, влюблен в жизнь!

И тут, воодушевленный тем, что Снежков внимательно слушает меня, я произнес самую горячую речь, на которую был способен. Я говорил о том, что каждую минуту каждый из нас, молодых, здоровых, полных надежд людей, может перестать существовать и что поэтому каждый миг, прожитый нами, особенно прекрасен. Что никогда прежде, в мирное время, не могла быть такой прекрасной эта лужайка с ее высокой изумрудной травой, с ее огненными маками, что никогда прежде не могло быть так прекрасно море, и что никогда прежде не могли мне быть так душевно близки и дороги и он, Снежков, и все катерники, и небритый капитан сейнера, и два молодых матроса, недружелюбно смотревших на нас, и она, эта девушка-кок с таким чудесным именем — Любовь...

Снежков слушал меня не перебивая. Я замолчал, смущенный своей горячностью. Он улыбнулся и сказал:

— Знаете, когда я встречаю девушек вроде этой Черноморочки, как вы ее называете, у меня возникает сильнейшее желание: нарядить их всех в чудесные платья, тончайшие кружева, богатейшие меха...

— А разве она не хороша в своем коротком платьице, вылинявшей голубой жакетке и босая? — спросил я.

— Нет, это не то... Мы, мужчины, в большом, прямо-таки неоплатном долгу перед нашими женщинами. Ведь женщина, согласитесь, хочет и имеет право быть красивой. А дали мы ей эту возможность? Наши женщины — лучшие в мире — и по красоте своей и по душевному богатству. После победы мы начнем платить им свои долги... Конечно, сперва придется отстроить разрушенные города, восстановить богатство страны, собрать и обласкать беспризорных ребятишек, ну, словом, залечить раны. А потом? Как вы думаете? Мне кажется, что должен встать вопрос о том, как устроить нашу жизнь так, чтобы она была... ну да, нарядной, праздничной? А? Как вы думаете? После такой войны?.. Послушайте! Ведь имеет же человек право на праздник!

...На закате «тюлькин флот» снова уходил к Малой земле, и снова катер лейтенанта Русанова, а на нем и я, шел в охранение.

Далеко над горизонтом, левее мыса Мысхако, погружалось в сверкающее море огромное, пунцовое, круглое солнце...

Сейнеры вытянулись цепочкой вдоль берега и, попыхивая, потрескивая, неспешно двигались туда, к Малой земле. В воз-

духе мелькали порою силуэты чаек, точно мгновенно начертанные карандашом. Горы на берегу все темнели, темнели и скоро из лиловых стали совсем черными...

Я без труда угадал силуэт «ее» сейнера. У этого кораблика корпус был парусной шхуны с сильным бушпритом, но мачту на нем водрузили жиденькую — только для антенны и флага, по этому признаку я тотчас и узнал его...

— Пройди поближе к тому сейнеру, с тоненькой мачтой, — попросил я Русанова.

И, когда мы были борт о борт с медлительным суденышком, я увидел Любу. Она стояла на баке у самого форштевня и смотрела на заходящее солнце. Я схватил мегафон и крикнул: «Привет!» Она оглянулась и стала махать мне рукою.

А в стороне, далеко от нас, скользнул двойной силуэт: катер-охотник и за ним на мотоботах — танк. Это Снежков шел на выполнение своей задачи...

...Один ночной дозор сменялся другим, и вскоре эта жизнь стала для меня привычной.

— Ну что же, лейтенант? — обращался я к Русанову по утрам, вернувшись из дозора. — Когда же мы потопим немецкий торпедный катер?

Мне нравилось видеть смущение на его лице, будто он был в чем-то виноват передо мною. А в чем он был виноват? В том, что гитлеровские катера не осмеливаются более тревожить «тюлькин флот»?

— Черт их знает, куда они все попрятались? — говорил он. — Бывало, что ни выход, то встреча. А теперь, ну прямо точно вымерли все ТК!.. — И он пожимал плечами, разводил руками.

Впрочем, я ни капельки не жалел, что прибыл сюда, в Геленджик, и что жизнь моя на время слилась с жизнью катерников. И никогда не забуду эти звездные бессонные ночи на покачивающемся корабле, эти дни в голубой бухте...

Каждый вечер один за другим выходили из бухты и шли мимо Толстого и Тонкого мысов сейнеры. «Тюлькин флот» шел к Малой земле, — туда, где взвивались столбы огня и воды от бомб, снарядов и мин, туда, где бесновался враг, не в силах сбросить наших десантников с захваченного ими клочка побережья. И знал я, что на Малой земле восхищаются «тюлькиным флотом», что каждую ночь тысячи людей ждут прихода смешных, нескладных суденышек, которые каждую ночь, идя под смертью (самолеты), над смертью (мины), сквозь

смерть (артиллерийская блокада), приносят им, советским десантникам, и жизнь и силы.

Каждый вечер выходили мы из зеркально спокойной Геленджикской бухты на вольный морской простор, чтобы охранять эти маленькие кораблики-герои...

И стало уже обычным для катера лейтенанта Русанова, и для катера старшего лейтенанта Снежкова, что при выходе в море мы приближались к сейнеру, на котором плавала Люба. И она, встав у борта сейнера, махала нам рукою, залитая светом заката.

Понемногу все — и «лей» Русанов, и «пом» Преображенский, и «мех» Леутский с нашего катера, а также Тюфякин с катера «старлея» Снежкова познакомились с Любой. Прозвище «Черноморочка» утвердилось за нею в нашем кругу. При встречах с нею мы называли ее по имени — Любой, но за глаза все, не исключая даже Снежкова, называли ее Черноморочкой, а то и «нашей Черноморочкой». Но у каждого из нас постепенно складывалось свое, особое отношение к ней.

Тюфякин смело шел в наступление, как искушенный, великолепно натренированный донжуан, которого возможные препятствия на пути к победе не только не обескураживают, а, напротив, радуют, — скучно было бы донжуану идти к цели, не будь этих препятствий, составляющих для него главный интерес!..

Русанов пребывал в отношении к Черноморочке в состоянии юношеской нерешительности: с одной стороны, его к ней влекло, с другой стороны, он понимал, что такой человек, как он, если уж завяжет отношения с таким человеком, как она, то придется идти до конца, до семейных уз. Но как же в двадцать два года связать себя семейными узами? Да еще во время войны?..

«Пом» Преображенский боролся с собой, избегал углубления своего легкого увлечения. «Мужчина в жизни прихрамывает либо насчет как бы выпить, либо насчет любви. Я избрал первое, потому что вино — вещь невинная!» — Так изрек он однажды, осушив залпом кружку портвейна, который нам нередко удавалось раздобыть в Геленджике. При встречах с Любой он всегда держался на заднем плане, ограничиваясь молниеносными взглядами, которые бросал на нее из-под своих сросшихся бровей. Были в этих взглядах и грусть, и вопрос, и еще что-то такое, чего словами не выразишь...

Ровнее и прозаичнее всех относился к Черноморочке «мех» Леутский. «Гуляет она, должно быть, с матросиками! — гово-

рил он, посмеиваясь. — Но кто же теперь не гуляет? Дело молодое, а тут война, того гляди пропадешь...»

«Да откуда вы знаете, что она гуляет с матросами?» — злился я.

«А что же вы думали? Если бы еще девушка, а то ведь вдова»...

Один Снежков занимал в отношении Черноморочки позицию незаинтересованного, стороннего зрителя, которому немалое удовольствие доставляет наблюдать за нами.

День наш складывался обычно так: в бухту мы возвращались значительно раньше каравана сейнеров, обогнав его на обратном пути.

Позавтракав рисовой кашей или макаронами с колбасой, а иногда и жареной рыбкой, мы располагались на палубе в одних плавках и часа полтора-два дремали, принимая солнечную ванну. Кроме нас, по обе стороны Каменной пристани швартовалось множество других катеров-охотников, возвратившихся с ночных операций. Они становились носом друг к другу, и на их палубах тоже отдыхали матросы и командиры, так что на время в этом районе бухты получался своеобразный плавучий пляж. Потом мы отходили на рейд и, выкупавшись в тихой студеной воде, устремлялись к городской пристани, куда уже цепочкой тянулись и подоспевшие сейнеры. Там ожидала нас короткая встреча с нашей Черноморочкой. Обычно она, как только ее сейнер отшвартовывался, брала корзинку и отправлялась на базар за зеленью для обеда. Вот тут-то мы ее и встречали на пристани и останавливали, чтобы дружески побеседовать. Несколько шутливых фраз, звонкий смех — и стройная фигурка в выцветшей голубой жакетке уходит. То же происходило и по возвращении ее с базара — тут мы имели возможность поговорить несколько дольше, пока сейнер не отходил от пристани, чтобы уступить место какой-нибудь барже или буксиру. Не всегда удавались и эти наши скромные свидания. Случалось, что ее сейнер и вовсе не швартовался у городской пристани, а прямо становился на рейде, когда на борту не было раненых с Малой земли. В таком случае нам оставалось лишь наблюдать в бинокль за тем, как крохотная лодочка, на корме которой сидела она, пристает к прибрежным камням и как Люба, опершись на руку полуголого гребца, легко прыгает на берег и, взяв корзинку, исчезает в гуще уже расцветших акаций...

После того как катера Русанова и Снежкова принимали, если это было нужно, запас пресной воды, мы снова уходили к Каменной пристани, где и проводили всю остальную часть дня, вплоть до ухода на операцию.

После обеда — «мертвый час», который тянулся два, а то и три часа, что было вполне простительно, если учесть, что ночью никому не удавалось сомкнуть глаза. Потом опять купание, солнечная ванна, разговоры и нередко заветный «морской козел». Все располагались вокруг узенького столика в кают-компании, и начиналось.

— Хожу с шестереночки! — говорил «мех», с размаху стукая костяшкой.

— Сброшу рыбину! — говорил «пом», тоже с размаху стукая костяшкой.

Они стукали все сильнее и сильнее, так, что вся каюта, казалось, содрогалась и подпрыгивала. Забавно было следить со стороны, сколько горячности и подлинного увлечения вкладывали они в немудрую игру. Выигравшие торжествовали, проигравшие переругивались, объясняя друг другу, что «надо было дуплиться» или что «надо было сидеть на конце»...

Наступал вечер. И снова выходили из Геленджикской бухты, мимо Толстого и Тонкого мысов, сейнеры «тюлькиного флота», и снова шли мы в охранение героического каравана...

Как я уже говорил, лейтенант Русанов испытывал чувство своего рода виновности передо мною, вызванное отсутствием в нашей походной жизни сколько-нибудь крупных событий — боев с вражескими кораблями или хотя бы схваток с фашистскими самолетами. У него, думается мне, было ощущение, близкое тому, которое овладевает любителем красот природы, пообещавшим приятелю зрелище дивного солнечного восхода, поднявшим его ни свет ни заря с постели, заставившим вскарабкаться на отчаянную крутизну, но ничего, кроме густого тумана, по причине плохой погоды не смогшим показать.

— Уж такая это штука — война, — говорил лейтенант, — то одно событие на другое налезает, а то вот как сейчас — тишь да гладь!.. — И он вздыхал с искренним прискорбием. Надо было быть двадцатидвухлетним командиром катера-охотника, надо было быть моряком-черноморцем, десятки, сотни раз побывавшим в лапах у смерти и благополучно, без малейшей царапины выбравшимся из этих лап, чтобы смотреть таким образом на дело. Любой человек другого характера, чем Русанов, на его месте лишь радовался бы тому, что события «не лезут одно на другое» и что у нас «тишь да гладь»...

— Ну, сегодня, может быть, что-нибудь и будет! — торжествующе сказал он, возвратившись от оперативного дежурного, у которого получил задание. — Идем в Туапсе в сопровожде-

нии большого каравана. Надо думать, немецкая разведка не спит!..

В Геленджикской бухте действительно набилось немало судов: буксиры, шхуны, баржи. Сюда они подвозили боеприпасы и продукты, которые перегружались у городской пристани на «тюлькин флот» и в геленджикские склады. Теперь все эти корабли, в большинстве своем заполненные ранеными, ожидали отправки назад, в Туапсе.

Вечером того же дня караван покинул Геленджикскую бухту.

— Эх, и «свадьба»! — говорил, покачивая головой, «пом» Преображенский, оглядывая вереницу «коробок», которые тянули за собой три буксира. — Дурак будет фриц, если проспит!..

Мы заняли место в ордере конвоя, и поход начался. Но или фриц действительно был дурак и проспал, или же самолеты и ТК противника были заняты в ту ночь где-то в другом месте, только ожидания лейтенанта Русанова не оправдались — ничего не произошло.

По серебряному от лунного света морю мы прошли все опасные места и к полудню вошли в порт Туапсе. Здесь нам приказано было ожидать новых распоряжений, и часов пять мы простояли в бездействии в так называемом «котловане» — месте стоянок охотников и торпедных катеров. И здесь я встретил знакомого фоторепортера, который спросил меня:

— Не на Север ли идете?

— Не знаю еще, ждем указаний...

— Эх, жаль — мне в Геленджик экстренно...

— Что так?

— Есть там старший лейтенант Снежков. Сфотографировать его надо... Знаете его?

— Еще бы! А почему его надо сфотографировать?

— Да как же! Он ведь подвиг совершил...

— Что? Какой подвиг?

— Точно, к сожалению, не знаю... Звонили по телефону. Летчика, что ли, спас, — что-то в этом роде...

— Да мы только что оттуда. Когда же он успел?

— Сегодня утром.

Нетерпеливое любопытство охватило меня. Старшего лейтенанта Снежкова я уж считал чуть ли не другом своим, и все, что касалось его, не могло не интересовать меня. И я только об одном и мечтал, чтобы катер Русанова отправили в Геленджик.

К счастью, мы получили приказ идти именно туда. И опять ночь была лунной, и опять серебрилось, переливалось, горело белым огнем море. И опять «ничего не было»...

...Первым, кого я увидел на городской пристани в Геленджике, была наша Черноморочка. С корзиной в руках стояла она над самой водою — видимо, собиралась на рынок, но поджидала нас. Это было в первый раз, что она так явно проявила к нам свою симпатию. Обычно она скорее пассивно принимала нашу дружбу, как и дружбу других моряков. У нее было множество друзей, и я не замечал, чтобы она отличала одних от других.

Как только мы отшвартовались, Русанов, Преображенский и я вскарабкались на пристань и подошли к Любе. Фотокорреспондент поспешил в город.

— Слыхали? — с торжеством в голосе спросила Люба, едва мы поздоровались. — Ваш товарищ...

— Слыхать-то слыхали, но в общем ничего не поняли, — ответил за всех Русанов.

— О, я сама все видела! Весь Геленджик смотрел!.. — И она стала рассказывать.

Вот что за события развернулись на следующее утро после нашего ухода.

Над Геленджиком произошел воздушный бой. Само по себе это еще ничего особенного не представляло — всем, в том числе и мне, не раз доводилось видеть эти короткие, стремительные турниры в воздухе, завершающиеся падением одного, а то и двух самолетов, причем, как ни грустно, не всегда только вражеских... Но этот бой был особенно драматичен. Четыре «мессершмитта» схватились со звеном ЛАГов, и врагам удалось один из ЛАГов поджечь. Советский летчик выпрыгнул на парашюте. Однако фашисты не хотели оставить его в живых и, кружась вокруг повисшего между морем и небом человека, стали бить по нему из пулеметов. Наши самолеты пытались защищать летчика, которого ветер относил все дальше в море. Это видели в Геленджике, и на берегу собралась толпа. Летчика считали наверняка погибшим... Видел происходящее и старший лейтенант Снежков. Не ожидая ничьих приказаний, он запустил свои моторы и помчался в море прямо через минное поле. Огнем своих пулеметов он создал подобие воздушного заслона вокруг падающего летчика, мешая «мессершмиттам» приблизиться на расстояние точного прицела.

Когда же летчик упал в море, Снежков загородил его корпусом катера, продолжая вести огонь по «мессершмиттам» из пушек и пулеметов. Взбешенные враги обрушились тогда на катер, вырвавший у них добычу. Они налетели с четырех сторон, но катер продолжал отстреливаться, одновременно принимая меры к тому, чтобы вытащить из воды почти потерявшего

сознание летчика. Один из «мессершмиттов» задымился, но сильным маневром сбил пламя. Фашисты поняли, что проиграли бой, взмыли «горкой» вверх и умчались в сторону Крыма.

Катер, на этот раз обойдя минное поле, возвратился в Геленджик, где его встретили бурными рукоплесканиями. Летчика, у которого было лишь немного обожжено лицо, уложили в санитарную машину. Несмотря на ожоги, он расцеловался со старшим лейтенантом Снежковым, что вызвало новые рукоплескания.

Вот что рассказала нам Черноморочка. Конечно, мы все радовались вместе с ней за Снежкова: это был мужественный поступок. Но для меня, а тем более для моих товарищей-катерников ничего слишком исключительного в этом эпизоде не было. Снежков поступил так же, как поступил бы любой другой командир охотника. Случайностью было то, что выручил летчика Снежков, а не Русанов или кто-либо другой. Черноморочка, однако, иначе смотрела на этот случай. Она видела все собственными глазами, и видела впервые в жизни.

— Ваш товарищ, — так называла она Снежкова, — ваш товарищ прибежал на пристань, и сразу прыгнул на катер и сразу дал сигнал боевой тревоги. И мы едва успели понять, в чем дело, как он был уже вон там, у выхода из бухты. Ваш товарищ обнял летчика и помог ему взойти сюда, на пристань... Ваш товарищ, когда машина ушла, сказал: «Черта с два, мы им своих летчиков не будем отдавать». И сразу же ушел к Каменной пристани... Я хотела подойти к вашему товарищу, но было как-то неловко — боялась, он подумает, будто я хочу похвастаться, что мы знакомы... Ваш товарищ... Ваш товарищ... Ваш товарищ...

— Ну, сегодня вы пойдете со мной! — сказал Снежков, катер которого только что отшвартовался у Каменной пристани рядом с нашим.

Я поздравил его со спасением летчика. Он молча пожал плечами, как бы говоря: «Ну что тут особенного?..» И повторил приглашение идти с ним.

— Почему именно сегодня? — спросил я.

— Да уж есть причина, — ответил Снежков. — Идите ко мне сюда, узнаете!

Я перешагнул через леера и взошел на мостик охотника МО-098.

— Сегодня у меня занятное задание... Вам, думаю, будет интересно посмотреть.

— Что за задание?

— В Станичке, в одном каменном доме, появилась пулеметная точка. Забрался какой-то фриц и мешает выгрузке сейнеров... Ну, я и получил задание: пойти туда и уничтожить этого наглого фрица. Идете? Подавлять буду эрэсами, а это зрелище не каждый день увидишь...

Мгновенная бурная борьба произошла в моей душе... «Зачем тебе? — говорил один голос. — Никто тебе не поручал...» — «Посмотри на Снежкова — он веселый, улыбающийся, уверенный в себе... Почему же ему можно, а тебе нет? Или ты трус?» — говорил другой голос.

— Прекрасно! — сказал я. — Спасибо, обязательно пойду с вами!

Признаться, я предполагал, что Русанов, Преображенский и Леутский будут смотреть на меня если не как на героя, то, уж во всяком случае, как на боевого парня, мужеством которого нельзя не восхищаться. Однако мне пришлось разочароваться.

— Везет Снежкову! — с досадой сказал Русанов в ответ на мое сообщение о предстоящей операции. — Ну почему ему, а не мне поручили?

— Такой хитряга! — тоже с досадой сказал «мех» Леутский. — Всегда раньше всех пролезает...

И один только Преображенский пристально взглянул на меня и сказал:

— А я бы на вашем месте не пошел. Пользы никакой, а риск немалый...

Однако вечером, когда я сходил с МО-091, Русанов, Леутский и Преображенский на прощание расцеловались со мной, что мне не совсем понравилось, так как заставило подумать: «Может быть, и на самом деле я их больше не увижу?..» Впрочем, дружественное их ко мне расположение тронуло меня...

И вот на закате катер МО-098 покинул Геленджикскую бухту. Все было точно так, как обычно: чадя и постукивая моторами, уходили вереницей по золотящейся воде сейнеры, мчались охотники, чтобы, выйдя в море, лечь в дрейф и поджидать караван. Мчался, поднимая волны, и наш охотник, — словом, ежевечерняя, уже привычная картина. Но для меня все выглядело как-то по-новому, будто вижу я все это в последний раз... И когда Снежков прошел малым ходом невдалеке от сейнера нашей Черноморочки и я приметил на баке закачавшегося от поднятой нами волны суденышка знакомую фигуру и, взяв бинокль, увидел и лицо Любы, улыбающееся, милое лицо, — такая грусть сжала мое сердце, что даже стыдно стало...

Снежков был настроен на какой-то очень уж шутливый лад.

— Да хватит уж, хватит! — говорил он, отталкивая бинокль от глаз лейтенанта Тюфякина который так же, как и я, смотрел на сейнер. — И вообще, — продолжал он, обращаясь ко мне, — чем вас околдовала эта девочка, не понимаю. Командиры, взрослые, серьезные люди, один из них даже женатый, только о ней и говорят!

— Да вы больше всех и говорите, — возразил Тюфякин.

— Поневоле будешь говорить, — отвечал Снежков, беря у него бинокль и направляя его на сейнер, — поневоле будешь говорить, когда оказываешься свидетелем умопомрачения пятерых офицеров.

— При чем же здесь умопомрачение? — не без досады спросил я.

— А что же иное? Молоденькое существо, которое и разглядеть-то в жизни еще ничего не успело, вдруг оно, это существо, оказывается чуть ли не повелителем пятерых сердец! Шутка сказать, пять сердец, бьющихся под мундиром морских офицеров, начинают прыгать и замирать, стоит этому существу бросить лишь мимолетный взгляд, улыбнуться им или кивнуть головой!..

После ужина я прилег на узеньком жестком диване в кают-компании. Но почти тотчас мой отдых нарушили два краснофлотца — молодые ребята, блондин с голубыми глазами и нежной кожей лица и нескладный, толстощекий, с большими добрыми темными глазами.

Похоже, они пришли, чтобы удовлетворить свое любопытство в отношении меня. Разговор наш начался с ряда анкетных вопросов, которые они задавали мне с деликатными улыбками.

Когда я сообщил о себе основные биографические данные, толстощекий спросил:

— Стишок у вас есть какой-нибудь интересный? Я, знаете ли, стишки обожаю... — И, не ожидая моего ответа, он с большим чувством начал читать:

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди...

— Стихов у меня, к сожалению, нет, — сказал я, когда он кончил читать и мы с минуту помолчали. — Меня очень интересует один вопрос, только прошу, скажите от чистого сердца: что за человек ваш командир?

Может быть, мне и не следовало задавать этот вопрос подчиненным Снежкова, но он все больше интересовал меня, и я

был рад, когда на лицах морячков, столь не похожих друг на друга, расцвело почти одинаковое выражение тихого восторга.

— Наш командир — драгоценный человек, — таким же взволнованным голосом, каким он только что читал стихи, произнес толстощекий. А голубоглазый блондин добавил:

— И главное, он корабль любит, а потому — все понимает!

— На руках таких командиров надо носить, — подумав, добавил толстощекий. — О нем написать надо! Но, конечно, мы не спецы... Вы должны сделать это! — Он доверчиво взглянул мне в глаза. — Взять хотя бы случай, когда мы из окружения прорывались! — Он говорил с таким видом, будто это было известно не только мне, но вообще всему свету. — Ведь у любого другого командира пропал бы катер...

— Пропал бы! — подтвердил блондин с голубыми глазами.

— А как дело было? — спросил я.

— Как дело было? Очень просто дело было, — сказал толстощекий. — Мы ведь сперва на Дунае воевали. Воевали, воевали, и в один прекрасный день оказалось, что находимся в протоке Конка, а выйти из нее нам невозможно: немцы со всех сторон.

— Ну и как же, прорвались? — спросил я.

— Нет, сперва мы ждали приказа. Сидим, ждем. Продукты кончились, — сказал блондин, улыбаясь, словно это обстоятельство особенно украсило их жизнь.

— Да, продукты кончились, есть нам нечего, — подтвердил толстощекий. — Тогда старший лейтенант Снежков...

— Он еще лейтенантом был, — поправил блондин.

— Ага, тогда он еще лейтенантом был... Вот он и говорит: «Булавки есть?» — «Есть», — говорим. «Давайте рыболовную сеть готовить». Наготовили мы крючков, занялись рыболовством. Ну конечно, особенно много не наловили, — питались один раз в сутки. И простояли мы так, словно Робинзоны какие-нибудь, двадцать восемь дней и столько же ночей! И вот приходит приказ: «Прорваться во что бы то ни стало!» Выбрали мы ночку потемнее — и на прорыв. А все фарватеры заминированы...

— Идем самым малым ходом, прямо ползем! — сказал, порываясь перехватить рассказ, блондин.

— Идем самым малым ходом, прямо ползем. Выбираем места помельче. А грунт все время прощупываем футштоком... Шли всю ночь и вышли из окружения...

— Фрицы пронюхали — высылают самолеты, — сказал блондин.— Налетело на нас три «козла» и «мессер-109». А нам уже это дело привычное... Как мы дали, как дали им! Один «юнкерс» спикировал в воду. А старший лейтенант Снежков

улыбается: «Что-то прохладно нынче... А ну-ка, еще огоньку!» В общем, угнали мы фрицев, да ненадолго. Часов в восемь утра нагрянуло восемнадцать «козлов». Дым, грохот, свист! Одной бомбой ка-ак жахнет, ну совсем рядом, если б не сманеврировали, в куски бы разнесло...

— Сманеврировать-то мы сманеврировали, а рули заклинило, и мотор один встал. И наскочили мы на мель, — перехватил рассказ толстощекий. — Смотрим — опять летят. На этот раз двадцать шесть стервятников! Мы с катера — и в камыши. До вечера продержали нас, но в катер так и не попали — слабаки! И вот приходит приказ контр-адмирала: «Подорвать катер и идти в партизаны!»

— Лейтенант собрал нас... — начал было блондин, но его дружок перебил.

— Лейтенант собрал нас, говорит: «Я, — говорит, — корабль бросить не могу. Давайте, — говорит, — попробуем сами сняться с мели». Ну, машинная команда ввела моторы в строй, и начали мы выбираться с мели. И что же? Размыли винтами песок, вывели катер на глубину между перекатом и берегом...

— Да! И вышли в море! — как-то даже торжественно заключил блондин, помолчал и сказал: — А как мы после Феодосии чуть не потонули? Ведь если бы не командир...

— Да, вот тоже случай, — сказал толстощекий. — Высаживали мы десант на Феодосийский мол. А дело в декабре. Ветер баллов семь... Водой обдает — то от разрыва мины или снаряда, то просто волна. Промокли насквозь, на ветру все льдом покрывается. Прямо как в броне ходишь!.. Едва двигаешься. А тут бомбы, а тут стреляют, пулеметы строчат. Подходим мы к транспорту за последней партией десантников. Приняли их, начали отходить, ка-ак вдруг швырнет нас волной на транспорт! Слышим треск. «Осмотреть нижнее помещение!» — командует старший лейтенант Снежков...

— Как раз я и побежал! — сказал блондин, снова беря инициативу в свои руки. — Едва до люка добрался — палуба во льду, как каток. Вхожу в кубрик — боже мой! Пробоина! Вода хлещет, мне уж по колено. Начинаю затыкать пробоину, вдруг как меня толкнет! Катер от воды накренился, руля стал слушаться плохо, ну его волна и стукнула еще раз о борт транспорта. Мачты сломались, антенна порвалась. Но старший лейтенант Снежков ведет катер к молу — высадить десант. Десант-то высадили, а сами чуть живы — вода все поступает и поступает в отсек... Старший лейтенант с берегом связался — с командованием. И доложил наше положение...

— А ему отвечают: «Выброситься катером на берег!» Понимаете? На берег! — Толстощекий в волнении стукнул кулаком по столу. — А старший лейтенант Снежков говорит: «Или пропадем вместе с катером, или вырвемся вместе». И мы шли и шли. Катер сплошь обледенел. Пушки, как верблюды какие-то белые... Мы все точно соляные столбы. Катер вроде подводной лодки — по самые иллюминаторы в воде... А все идем! И вот ведь — дошли.

— Довел нас старший лейтенант!

— Такого командира на руках надо носить! — как бы подытоживая наш разговор, сказал толстощекий.

Вместе с ними я вышел на палубу. Закат угас. Над морем прозрачно светился тонкий месяц, и легкое его отражение искрилось в воде. А из полумрака надвигалась на нас смутная масса Дооба, на котором мигал зеленый огонек. А дальше, там, над Малой землей и у Сахарной головы, уже запрыгали ракеты — словно невидимый жонглер подбрасывал огненные мячики и ловил их, чтобы снова подбросить...

Обогнув мыс Дооб, мы вошли в Цемесскую бухту, и я увидел Новороссийск. Кажется, печальнее картины мне никогда еще не доводилось видеть. Во всем облике его было что-то мучительное. Высокие трубы заводов, высокие здания холодильника и других портовых сооружений в голубоватом свете месяца и ракет, казалось, смотрели на нас с молчаливым призывом: «Освободи!» И даже пунктиры пулеметных очередей, сверкающие понизу, не придавали жизни этому городу-призраку. Левее, в районе Станички и Рыбной пристани, в той стороне, куда устремился катер, творилось что-то невообразимое. Сверху спускались на парашютах, рассыпаясь золотым дымом, осветительные ракеты. С берега по направлению к морю летели огненные красные шары немецких трассирующих снарядов. С моря в сторону берега летели красные шары наших трассирующих снарядов. То и дело слышались разрывы мин, не прекращалась трескотня пулеметов, а временами над берегом взвивались багровые вспышки, за которыми следовал короткий грохот — это рвались бомбы, сброшенные не то нашими НБ, не то немецкими стервятниками...

«Ничего, держись!» — сказал я себе. И я уж готов был почувствовать себя героем, но тут мне вдруг пришло на ум, что в этот ад наша Черноморочка попадает регулярно каждую ночь и тем не менее героиней себя не чувствует...

— Видите наш объект? — спросил Снежков, подавая мне бинокль. — Вон стоит слева...

Подняв бинокль к глазам, я увидел двухэтажный дом, из которого то и дело вылетала тугая струя пулеметных очередей.

Берег со всей своей страшной кутерьмой неотвратимо приближался. Уже и без бинокля можно разглядеть расположение нашего объекта. Враг, которого должен был уничтожить Снежков, безусловно, пока нас не видел.

Обычно спокойное, чуть насмешливое лицо Снежкова изменилось. Мне казалось, что оно стало каким-то торжественно-печальным. Так же изменилось и лицо Тюфякина. Снежков отдал команду, которую я не разобрал, и перевел стрелки телеграфа. Моторы почти совсем затихли, но катер продолжал по инерции двигаться к берегу, одновременно делая плавную дугу влево.

Снежков еще раз перевел стрелки телеграфа, винты сердито вспенили воду, и катер остановился как вкопанный.

— Наводить носовые! — дал команду Снежков. — Залп!

Послышался резкий шипящий звук, сноп искр брызнул в нашу сторону, в лицо нам пахнул горячий ветер, и мгновением позже около каменного дома вспыхнул алый костер.

— Точнее наводить! — строго сказал Снежков. — Залп!

Снова шипение, искры, горячий ветер, и пламя зажглось на самом доме.

— Еще один, — сказал Снежков.

Шипение, искры, горячий ветер... Дом пылал.

Снежков посмотрел в мою сторону:

— Вот и все!..

Но в это мгновение откуда-то справа хлынул на нас пронзительно голубой свет, и весь катер и все мы на нем осветились ярко-серебристым сиянием. И сейчас же засвистели пули. Мне казалось, что они, как пчелы, вьются вокруг меня и летят со всех сторон.

— Подавить прожектор из пулеметов! — приказал Снежков, переводя стрелки телеграфа.

Мы рванулись вперед, и в то же время с катера забили наши пулеметы. Пронзительно голубой свет погас.

— Ну, вот и все, — опять сказал Снежков.

Вдруг ахнуло что-то совсем близко, и кругом катера поднялись бледные столбы. Я почувствовал соленые брызги на своем лице.

— У них тут, видно, пристреляно, — сказал Снежков. — Лево на борт! Держи прямо!

По корме опять ахнуло, но столбы воды поднялись уже далеко позади нас.

Берег быстро удалялся. Неотрывно смотрел я на пылающий дом, откуда еще недавно бил из пулемета наглый враг.

— Занятно, не правда ли? — спросил Снежков. — Был немец, и нет немца. — И он рассмеялся коротким, жестким смешком...

...Рано-рано утром я стоял на баке и смотрел на проплывающие мимо зеленые берега Кавказа, такие красивые под перламутровым облачным небом, пронизанным лучами утреннего солнца.

— На юг шли — ни одного листочка не было, — услышал я рядом с собой, — а теперь все расцвело!

Около меня стоял старший лейтенант Снежков.

— Любите природу? — спросил я.

— Люблю... Нет большей радости, чем выйти на берег, постоять под деревом, посмотреть на цветы...

Сказано это было очень просто, и выражение лица у Снежкова было в эту минуту таким светлым, взволнованным, что мне захотелось обнять его...

На протяжении всего обратного пути он рассказывал мне о своих «ребятах», и мне становились все более понятны их восхищение к нему и любовь.

— А вот тот, видите, маленького роста... — говорил он, кивнув в сторону одного из матросов, — это удивительный мастер на все руки. Он все может: и сапоги тачать и часы отремонтировать. За его мотор я всегда спокоен. Но есть у человека слабость, — что поделаешь, женщин любит. Если увидел красивую, — смертельно бледнеет и готов за ней идти на край света. А в бою смел, очень смел!.. Ну, а тот, что стоит на баке, к женщинам равнодушен, но вино... Как в базу придем — обязательно напьется. И где он вино достает — аллах ведает. Трезвый он молчалив, деятелен. Ребята его любят, потому что в бою он герой. Но за выпивку они раза три его крепко поколотили — считают, что он меня расстраивает... — Снежков засмеялся. — Но надо сказать, — добавил он поспешно, — что есть у него одно неоценимое качество: верность своему слову. Скажет — сделает. Однажды он мне заявил: три месяца пить не буду ни капли. И не пил. Ну, истекли три месяца — так выпил, что я его из комендатуры едва выручил...

Снежков с удовольствием говорил о «своих ребятах», и я понимал, что он видит в них не только подчиненных, не только боевых товарищей, но относится к ним по-отечески, с некоторой долей родительской влюбленности.

В Геленджик мы прибыли как раз к полудню. Облака к это-

му времени разошлись, и бухта, похожая на широкое озеро, сверкала голубизной в своих зеленых берегах.

— Капкан! — сказал Снежков, сделав выразительный жест, как будто он спускал воображаемую пружину.

— Какой капкан? — спросил я.

— Немец тут набросал уйму магнитно-акустических мин, — пояснил Снежков, — и все чудится мне, что кораблик взлетит в один прекрасный момент к звездам вместе со мною и моими ребятами... Очень уж это было бы глупо!..

...Как я уже говорил, шкипер сейнера нашей Черноморочки Лысогоров без особого сочувствия наблюдал за развитием дружбы своего кока с нами, «офицерской молодежью», как он называл нас. Думаю, он стремился уберечь Любу от возможных горьких разочарований, и руководили им соображения прежде всего педагогического порядка. И меня и всех остальных несколько раздражал этот ворчливый старик из гриновской новеллы...

Каково же было наше удивление, когда Люба сообщила нам, что Лысогоров задумал устроить у себя на сейнере нечто вроде банкета в ознаменование двадцатилетия своей морской жизни и что гостями у него должны быть Снежков, Русанов, Преображенский, Тюфякин, Леутский и я. Может быть, случай с летчиком, спасенным Снежковым, сыграл не последнюю роль в столь разительной перемене его отношения к нам. Впрочем, кто знает? Приглядевшись к «офицерской молодежи», он, возможно, составил о нас другое мнение. Так или иначе, но мы были приглашены пожаловать на сейнер завтра, в 14.00 часов. Такое раннее время дня было выбрано с тем расчетом, чтобы мы, погуляв, могли и отдохнуть до вечернего выхода в море.

Быть на банкете хотелось всем, но возникло существенное затруднение: как оставить катера без командира и помощников?

Преображенский вызвался, правда, без всякого энтузиазма, остаться на катере вместо Русанова, а Тюфякин — вместо Снежкова. Те, в свою очередь, без всякого энтузиазма, отказались воспользоваться этими предложениями. И тогда Леутский предложил остроумный выход: встать катерам, одному справа, другому слева от сейнера, и в случае чего... Так и порешили, и так на следующий день и сделали.

Сейнер, в лице всех обитателей своих — матросов, шкипера и кока, — встретил нас торжественно. Стол накрыли в общем кубрике — в каютах не поместились бы. Кубрик был вы-

чищен, выскоблен, вымыт до блеска. Посредине стола возвышался сияющий никелированный чайник с вином, не уступающий водоизмещением небольшому бочонку. Вокруг располагались закуски, поразительно многообразные для военного времени: мы увидали и жареную рыбу, и зелень, и винегрет, и селедку, и пирожки с мясом, и даже сладкий пирог с повидлом. Когда же к этому прибавились принесенные нами с собою консервы и колбаса, то стол просто, что называется, «ломился под тяжестью яств».

Матросы сейнера, какой-то ветхий старикашка лет за семьдесят, которого все звали Костенькой, и сам шкипер были чисто выбриты и одеты во все стираное и глаженое — не то что как всегда, промасленные, прокопченные.

— Товарищи офицеры, скидывайте-ка кителя! — предложил шкипер. — Будет жарковато!

Мы тут же последовали его совету и остались кто в майке, кто в тельняшке.

— Садитесь, — сказал шкипер, — в тесноте, да не в обиде!

Мы быстро расселись на скамейках вокруг стола.

И вот вошла, вся залитая солнцем, врывавшимся через люк, наша Черноморочка. На ней было нарядное белое платьице, и мы со Снежковым переглянулись, вспомнив наш разговор о роли одежды. В этом белом платье она была и в самом деле совсем другая, новая, тем более что волосы она собрала сзади тугим узлом, придававшим ее головке сходство с древними камеями. В руках она несла большую миску, над которой клубился благовонный пар. То была уха!

— Ну что же, Костенька, — сказал шкипер, осторожно наполняя железные кружки вином из чайника, в то время как Люба разливала по тарелкам уху, — произнеси!

— Нет, произнеси ты, Григорий Тимофеевич, — твой день сегодня!

— Нет, ты произнеси, Костенька, — ты старше всех тут по годам, тебе и произносить первому.

Аргумент показался Костеньке убедительным. Он встал и, подняв сухой, темной рукой кружку, сказал дрогнувшим от нахлынувшего чувства голосом:

— За тех, кто в море!

Дружно звякнули железные кружки, ударяясь одна о другую.

Потом наступила пауза: все сосредоточенно пили вино — по-морскому, до дна, без передышки. Люба смотрела на нас и улыбалась.

Осушив кружки, мы принялись за уху, перебрасываясь ко-

роткими фразами: «Эх, уха!», «Царская уха!», «Я лучше и до войны не едал!» Быстро опустели наши тарелки.

— Теперь произнеси ты, — сказал Костенька шкиперу, снова наполнившему наши кружки.

— Теперь гости пусть произнесут! — сказал шкипер и протянул полную кружку Снежкову.

— За тех, кто на Малой земле! — сказал Снежков.

И снова звякнули кружки.

А потом, когда перешли к закускам и лица всех заблестели от пота, разговор стал всеобщим. Шкипер, перегнувшись через стол, что-то говорил Снежкову о парусниках. Тюфякин допрашивал Черноморочку, почему она не пьет, утверждая, что ей придется нас нагонять. Леутский рассказывал мотористу сейнера о моторах, с каким-то сладострастием перечисляя их детали. Костенька овладел Преображенским и с сердитой гордостью говорил ему, что он «на рыбе сидит уже шестьдесят лет», и что он «рыбу понимает», и что «рыба его понимает». А я наблюдал за всеми и чувствовал себя, несмотря на жару, превосходно.

Вскоре вино стали наливать беспорядочно, и пили уже либо вовсе без тостов, либо с тостами, так сказать, «местного значения».

— Жаль, гитары нет, — сказал Снежков, — а то Тюфякин спел бы.

— У нас есть гитара! — радостно воскликнула Люба и, исчезнув на миг, возвратилась с гитарой, гриф которой украшал пучок разноцветных лент.

Тюфякин тронул пальцами струны, нахмурился, покачал головой, начал настраивать гитару и возился с этим так долго, что разговоры возобновились. Но вдруг прозвучал аккорд, и все затихли.

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем...

У Тюфякина был негромкий, то что называется вкрадчивый голос — голос, который точно для того и создан, чтобы петь под гитару о любви. Он пел много и в самых чувствительных местах романсов и песен бросал долгие, красноречивые взгляды на Любу, а она каждый раз смущенно опускала глаза, и длинные ресницы ее бросали на смуглые щеки тень — самую прелестную тень, какую только можно вообразить себе.

Я внимательно следил за нею, и не напрасно! Я видел, как, чуть пригубив кружку, она отстранила ее от себя, и как дружески переглядывалась то с одним, то с другим матросом сей-

нера, и как, замерев, слушала пение Тюфякина. Иногда она вдруг задумывалась, глядя куда-то в пространство перед собой. Потом, стряхивая с себя эту задумчивость, принималась угощать нас сладким пирогом. Несколько раз бросала она быстрый взгляд в сторону Снежкова. Многое прочел я в этом лучистом, быстром взгляде!..

«Что нашла она в нем такого? — спрашивал я себя, разглядывая Снежкова, который в эту минуту, жестикулируя, убеждал в чем-то дядю Костю. — Что заставило ее выделить его среди всех? Спасение им летчика? А разве тот же Тюфякин не был участником этого дела? Он должен был бы больше нравиться ей, чем Снежков: он очень красив со своими испанскими бачками, большими темными глазами на смуглом лице и с этим сладким, зовущим голосом... А Русанов? Его милая молодость, проглядывающая в каждом движении и вместе с тем крепко спаянная с мужественностью и зрелостью отважного воина. Или Преображенский? Разве младший лейтенант Преображенский плох? Что за чудесные бронзовые волосы! И глаза — раскосые, малайские глаза. Как устоять перед такими глазами?.. Почему же наша Черноморочка так смотрит на этого невысокого человека с бледно-голубыми глазами на угловатом, покрытом красно-бурым загаром лице? На этого насмешливого, едкого Снежкова? Что произошло?..»

Внезапно Костенька поднялся, оглядел нас победоносно орлиным взглядом и поднял тощую руку, призывая к тишине. В горле его что-то захрипело, как хрипит в патефоне, когда запускают старую пластинку, и вдруг он затянул фальцетом:

Ревела буря, гром гремел,
И в небе молния блистала...

Шкипер, прижав подбородок к груди, побагровев, взревел басом:

И беспрерывно гром гремел...

Все подтянули:

И в море буря бушевала...

Тюфякин, выждав минуту, влил в общий хор прозрачную руладу, и так здорово, что сам, кажется, удивился. Люба пела тихонько, слабым, нежным голосом, отчетливо звучавшим на фоне мужских голосов.

— Ну, а теперь я произнесу! — многозначительно сказал шкипер, когда песня была спета. Он встал и наполнил все кружки вином. Все тоже встали и подняли кружки, ожидая тоста.

— Я пью за малый флот, — сказал шкипер, — за дружбу

сейнеров и катеров-охотников! Мы, конечно, не какие-нибудь теплоходы... Мы — сейнера. И вы тоже не какие-нибудь линкоры, вы — катера. Но только я одно скажу: не шутка воевать за толстой броней, да под прикрытием авиации, да в охранении эсминцев, да с орудием дальнобойным. Нет! Вы повоюйте на таких лайбах, как наши. И если бы не вы, охотники... Эх, и плохо бы пришлось нашему брату отставному рыбаку! Были мы рыбаками в Азовском, ловили тюльку и сельдь. Кто думать мог да гадать, что и мы пригодимся для военных операций? Но вот — пригодились! Десант высаживать кто будет? «Тюлькин флот»! Боеприпасы подбрасывать кто будет? «Тюлькин флот»! Эвакуировать наших земляков и раненых кто будет? Опять же «тюлькин флот»! Слышали мы и как бомбы визжат, и как «ванюша» бьет, и как снаряды воют, и как пули свистят. Рвались мы на фашистских минах, тонули под немецкими фугасками, даже торпеды в нас фриц пускал... А дело свое делает «тюлькин флот». И вот что я скажу: везде где мы, там и вы. Вы — наша защита. Крепкая дружба у нас с вами. За нее и выпьем!

— За маленькие корабли и большие сердца! — сказал Снежков.

И все мы залпом осушили свои кружки.

...Когда мы вышли, наконец, на палубу из кубрика, небо приняло тот розоватый оттенок, который служит предвестием близкого заката. В нашем распоряжении было всего лишь два часа, после чего мы должны были готовиться к очередной операции.

Почти одновременно с двух сторон сейнера фыркнули, загудели моторы двух охотников. Русанов и Снежков повели свои катера к Каменной пристани. Сейнер остался на причале.

На палубе стоял шкипер и приветственно помахивал нам вслед рукою. А рядом с ним в белом — нет, теперь уже в розоватом от заката платье стояла наша Черноморочка. Такой я запомнил ее навсегда...

ЛОВЦЫ ЖИВОГО СЕРЕБРА

(СЕВЕРНЫЙ РЕПОРТАЖ)

1

Молодой рыбак с зеленоватыми глазами, большими загорелыми руками покраснел до слез.

— Обещаю... Как и раньше... — запинаясь, пробормотал он. — Лучше, чем раньше!..

Люди в таких же, как и он, просоленных, промасленных ватниках, в тяжелых болотных сапогах и ушастых шапках, такие же, как и он, бронзоволицые, понимающе улыбались.

Махнув рукой, рыбак протолкался к дверям салона и вышел на палубу «Моржа».

Под бортом парохода сгрудились рыбачьи боты. На фоне хмурого неба бесчисленные мачты, спутанные паутиной закопченных вантов, образовали сложный рисунок. Рыбак соскочил на бот, отвязал шлюпку и, выбравшись из лабиринта пахнущих смолою судов, поплыл к острову Высокому. Греб он сильно, будто от кого-то убегал. Краска смущения все еще не сходила с его скуластого обветренного лица.

Резким ударом весел вытолкнув шлюпку до половины на песок, он почти бегом начал взбираться по скалам, покрытым снегом.

От острова, словно чистые снежные комья, оторвались чайки, закружились в воздухе. Достигнув вершины скалы, рыбак взобрался на большой черный камень. Отсюда ему был виден почти весь фиорд.

Недвижный воздух был хрустально прозрачен. Внизу раскинулся плавучий город. На серой, спокойной, гладкой, точно полированная сталь, поверхности моря застыли стройные паруснн-

ки, боты, тральщики. Возле каждого судна, уходя в темную глубь, лежал его двойник — чуть замутненное отражение.

Извилистая линия гористого берега образовывала глубокие гавани, похожие на озера. Местами берег выдвигался вперед, над спокойной гладью возвышались скалистые мысы.

Клекот моторов пронесся по фиорду. Один за другим боты отчаливали от «Моржа».

— Кончилось собрание, — прошептал рыбак. Смущенная радостная улыбка тронула его плотно сжатые губы.

И что это он убежал? Стыдиться-то ему нечего!.. Он работал, не жалея своих сил, нисколько не жалея...

...Все началось прошлой осенью. Несметные полчища сельди устремились в фиорд Извилистый. Косяки шли стихийно, непрерывно. Казалось, серебристая рыба вот-вот покажется на поверхности — так будет ей тесно.

Над фиордом кружились тучи птиц, прилетевших следом за рыбой. Кайры, глупыши, чайки пронзительно кричали, взмахивали крыльями, падали камнем в воду, взвивались вверх, унося в клюве блестевшую, как кусочек жести, сельдь.

Со всех концов Мурманска, с Белого моря, из Карелии, с берегов Балтики к фиорду Извилистому потянулись рыбаки. На моторных ботах, на хрупких парусных ёлах, на тральщиках и пароходах плыли они по пенистым волнам Баренцева моря, на поездах пересекали Кольский полуостров. Верфи в Мурманске поспешно выпускали один промысловый бот за другим. Сетевязки беспрерывно готовили кошельковые невода.

Все это не имело бы никакого смысла, если бы не запор-гигант. Не будь этого огромного невода, закрывшего горловину фиорда, рыба ушла бы так же неожиданно, как пришла. Запор-гигант отрезал ей путь в море, превратил фиорд в многоверстный бассейн — сотни тысяч тонн сельди оказались в плену. Рыбакам оставалось вычерпать рыбу.

Днем и ночью, круглые сутки напролет они вылавливали из холодных глубин трепещущее живое серебро. Шесть месяцев продолжалась напряженная работа, и все-таки богатства фиорда казались неисчерпаемыми...

Несмотря на непрестанный труд, жизнь в плавучем городе не была слишком тяжела. На паруснике «Сириус» для рыбаков оборудовали клуб, в котором чуть не каждый вечер показывали кино, на шхуне «Седов» — столовую, на пароходе «Акула» — кооператив, в котором не иссякали запасы консервов, мяса, овощей, фруктов, вин.

Ловцы сжились с фиордом. Они привыкли к бессонным ночам, к тучам морской птицы, к невиданным уловам. Со всем этим сжился и он, бригадир Паша Лагун. Он не выделял себя из общей массы рыбаков. Что из того, что он бригадир? Рядом с ним работали десятки таких же бригадиров, соревновались — вот и все.

Опытный ловец! Усмешка промелькнула в зеленоватых глазах Лагуна. Всего полтора года назад он ничего не смыслил в промысле. Любой невод — дрифтерный, ставной, кошельковый — был для него просто сетью.

Трое их приехало на Баренцево море — молодые демобилизованные красноармейцы: Миша Бугаев, Костя Грустилин и он, Паша Лагун. Родных у них не было, вот и решили попытать счастья в Заполярье.

В рыболовецком колхозе «Звезда Севера» все трое держались вместе. Твердо постановив быть достойными звания красноармейцев и сделаться примерными ловцами, присматривались к работе опытных рыбаков, вечерами читали специальную литературу. Позднее, когда их назначили бригадирами, откололся Грустилин. Женившись, он перебрался из общежития в отдельную квартиру — свил уютное гнездо. Спустя некоторое время Миша Бугаев затосковал. Кругом — камень, вода да чайки. Ничего больше. Он сутками бродил в одиночестве по скалам, пил. Вслед за ним потянулся к спиртному и Паша.

Они шатались по песчаным закоулкам становища Салныни, хрипло орали песни под аккомпанемент «венки», мехи которой свирепо растягивал Миша Бугаев.

Однажды Грустилин подошел к бывшим приятелям:

— Не себя — Красную Армию позорите!

— Ухо-ди! — рявкнул Миша Бугаев, багровея. — К юбке бабьей пристроился?

Лагун толкнул Костю Грустилина в широкую грудь:

— Не наш ты теперь!..

Но вот начался сельдяной лов. Из становища Салныни все бригады «Звезды Севера» выехали в фиорд Извилистый. О вине Лагун и думать забыл. Работа захватила его. Теперь он заботился лишь о том, как бы обогнать Грустилина, бригада которого выдвинулась в передовые и соревновалась с лучшей бригадой финского колхоза «Революция».

Лагун установил в своей бригаде двухсменную работу. И это дало отличный результат: у него на лову постоянно оказывались свежие силы. Кроме того, он выработал для каждого ловца определенные обязанности, а сам перед обметом выезжал на шлюпке со щупом и тщательно выискивал наиболее густые

косяки. И наконец, по примеру лучшего бригадира лова финна Ряйне Линде он ввел у себя в бригаде военную учебу и читку газет.

Показатели бригады Лагуна стали подбираться к показателям Грустилина, потом сравнялись. Наступил день, когда Лагун догнал и Ряйне Линде. А когда пришло известие о подлом убийстве Кирова, Лагун ощутил в своем сердце нестерпимую боль и горькую злобу. Сельдяной лов показался ему тем же фронтом, на котором шла борьба за счастливое будущее людей. Он предложил объявить поход имени Кирова. Бригада его резко выдвинулась вперед и достигла неслыханного рекорда: было выловлено без малого полторы тысячи тонн.

В фиорде Извилистом имя Лагуна стало знаменитым. На двухсменную работу перешли все ловецкие бригады.

Он не считал себя героем. Не один он был «виновником» успеха бригады. Успешной работе помогли и капитан Егор Маймин, не покинувший своего места с вывихнутой рукой, и моторист Эйнар Витель, не спавший трое суток, чтобы вовремя отремонтировать пятидесятисильный мотор, и ловец Петр Жилко, добившийся такого искусства в метании невода, что на их бот приходили учиться из других бригад. В общем вся бригада участвовала в достижении успеха.

Павел Лагун был уверен, что ему дадут премию, скажем, именное ружье, часы, путевку на курорт. И он знал — такой подарок он заслужил, как заслужили его многие ловцы. Но сегодня... Сегодня ему объявили, что он представлен к ордену. Нет, такого Лагун не мог ожидать.

Сообщение о высокой награде произвело на молодого бригадира ошеломляющее впечатление. Он даже немного испугался. Значит, он герой? Значит, страна отмечает его, Пашку Лагуна, как лучшего ловца? Того самого Лагуна, что орал в Салныни пьяные песни, дрался с архангельскими рыбаками? И у него на груди будет орден Трудового Красного Знамени?

Он же этого не стоит еще! Ему нельзя давать орден, честное слово, нельзя...

Чайки опустились на остров и расхаживали по чуть порозовевшему в лучах низкого солнца снегу, оставляя на нем похожие на звезды следы. Золотыми своими глазами они настороженно поглядывали в сторону неподвижно стоящего на камне человека и изредка издавали стонущий, будто вопросительный, крик.

Наступал вечер. Сквозь пелену облаков просвечивал огонь заката. На фиорде начался лов.

Лагун видел, как засуетились фигурки ловцов на его «Самойловиче». Наверно, ребята нащупали большой косяк. Бригадир пристально следил за своим ботом.

Вот от кормы отделилась дорка с концом невода. «Самойлович» полным ходом, взрябив покрасневшую воду, описал широкий круг и вернулся к дорке. Заработала лебедка, затягивая шнуры. Стена невода, собранная внизу, превратилась в гигантский сачок, в котором, по мере того как его вытаскивают на площадку бота и на дорку, все яростнее кипела пойманная рыба.

Вот большая часть кошелька обсушена, теперь его подымали с помощью лебедки. Похоже, тяжесть улова велика!.. Ловцы подвели под кошелек реж, чтобы предохранить сеть от прорыва. Когда с этим покончили, мотор застучал громче и бот пошел на сдачу, буксируя под бортом переполненный сельдью кошелек.

— Шестьдесят тонн, не меньше! — пробормотал Лагун. И вдруг ему стало необыкновенно весело, необыкновенно радостно. Лучи солнца прорвали край облаков, упали оранжевыми бликами на гору и воду. Чайки вновь закружились над фиордом. Они казались отлитыми из меди...

2

— Вы, может быть, станете отрицать, что запасы Баренцева моря равняются приблизительно двумстам миллионам тонн рыбы?

— Это совсем другой вопрос! Я утверждаю одно: в фиорде сейчас нет и двух тысяч тонн сельди, вопреки вашим заверениям, будто в нем есть еще двадцать пять тысяч тонн...

— Да? Но таким образом вы подвергаете сомнению мой метод исчисления!

— И не собираюсь! Но вы, профессор, действуете, в конце концов, тем же сельдяным щупом, что и бригадиры, которые являются несравненными практиками. Они мне говорят: «Рыбы нет». Вы мне говорите: «Рыба есть»... Кому я должен верить? Вам или Ряйне Линде? Вам или Павлу Лагуну? Я верю практикам!.. Вы начинаете сердиться, и совершенно напрасно... Вопрос в том: остались ли в фиорде промысловые запасы сельди или, черт ее побери, таковых нет?..

— Так я же утверждаю, что в фиорде Извилистом по крайней мере двадцать пять тысяч тонн!

— А бригадиры заявляют, что рыба не ловится...

— Бригадиры!.. Я же объясняю вам, что бригадиры не могут взглянуть на проблему с точки зрения научной!

— Но меня интересует, поймите вы, не научная точка зрения,

а про-мыс-ло-вая! Если здесь и есть несколько тысяч тонн сельди, но косяки рассеялись, — неужели мы будем ее облавливать по одной рыбине во славу вашей науки?

— Моей науки? Бесподобно!..

На борту бота «Пурга» спорили двое. Профессор Световидов, худой загорелый старик, обросший щетиной, стоял, размахивая руками перед промысловиком техноруком Птичкиным, вольготно развалившимся на груде сетей.

Могучий, огромного роста, Птичкин, перекинув ногу в тяжелом сапоге, который пришелся бы впору разве что Петру Великому, через округлое колено другой ноги, с улыбкой уставился выпуклыми светлыми глазами на профессора.

Третий человек, с молодым, матово-бледным лицом, в финке, сдвинутой на затылок, молча слушал, опершись грудью на кап.

— Нужно будет созвать совещание бригадиров, — негромко сказал он наконец. — Споры ни к чему не приведут. Вопрос о двадцати пяти тысячах тонн для вас, профессор, становится вопросом самолюбия. Ну, а для нас... Если сельдь есть, — а это надо точно выяснить, — то наша обязанность ее обловить. Если ее нет, то мы не имеем права терять здесь время. Появилась треска. Придется переключиться на нее.

— Товарищ Эйдельнант, я ручаюсь вам, что сельдь должна быть в фиорде! Куда она могла деваться?

— Вот это мы и будем выяснять, профессор... Трофим Трофимович! — крикнул он.

— Аюшки! — откликнулся голос откуда-то из недр «Пурги».

Дверцы кают-компании распахнулись, и в них показался маленький человек в черном ватнике, с седой кудрявой бородкой. Выбравшись на палубу, он приблизился к Эйдельнанту и вопросительно уставился на него.

— Запускайте мотор, Трофим Трофимович! Пойдем к «Моржу». Потом в Малую Извилистую — к культпаруснику.

— Есть запускать мотор! — ответил капитан «Пурги» и, приоткрыв кап кубрика, крикнул: — Эпимашка! Давай мотор!

Из кубрика появился моторист, насквозь, казалось, пропитанный нефтью, в вылинявшей тельняшке, с некогда красным платком на крепкой шее, и танцующим шагом прошел к машинному отделению.

Десять минут спустя бот «Пурга» задрожал и двинулся, стирая отражение берегов...

Эйдельнант подошел к борту. Задумчиво глядел он на голубую воду, в которой так же, как в небе, плыли редкие облака, на неподвижно стоявшие суда.

Первое мая рассчитывали встретить в фиорде. Расписание празднества уже было составлено: рыболовецкие боты с красными вымпелами на мачтах обойдут весь фиорд Извилистый кильватерной колонной. Из Мурманска приедут артисты и духовой оркестр. В заключение празднества — грандиозный банкет, на котором он, секретарь райкома Эйдельнант, рассчитывал выдать грамоты и премии лучшим ловцам.

По всем данным, можно было предположить, что к Первому мая удастся целиком выполнить годовую программу лова сельди. Это был бы триумф — досрочно закончить план.

Однако рыба внезапно перестала ловиться. Вместо обметов в пятьдесят-шестьдесят тонн бригады вылавливали теперь десятки центнеров. Было ясно: сельдь либо исчезла, либо изменила свое поведение; до сих пор она стояла в верхних слоях воды.

Эйдельнант послал в окружком телеграмму. Ему ответили коротко и ясно: план должен быть завершен к Первому мая. Газеты заговорили об успокоенности руководства ловом после награждения лучших ударников орденами. Профессор Световидов, утверждавший, что сельдь не ушла из фиорда, поднял совместно с выездной редакцией «Мурманской правды» кампанию за поддонный лов. Это предложение поддерживал и Эйдельнант, пока не выяснилось, что и поддоны дают смехотворно маленький улов.

Было досадно, что сельдь под самый конец подвела. Эйдельнант понимал: рыбакам в самые ближайшие дни придется покинуть фиорд Извилистый — запасы сельди, очевидно, исчерпаны. В споре профессора Световидова и технорука Птичкина прав был последний...

Совещание, как обычно, происходило на культпаруснике «Сириус». В люк, ведущий в трюм, где был устроен клубный зал, один за другим спускались бригадиры. Эйдельнант, профессор Световидов и Птичкин расположились за грубым столом на скамейке.

В зале было темновато, холодно. За стенами слышался плеск воды, потревоженной подходившими ботами.

Когда зал-трюм был до отказа набит ловцами, Эйдельнант поднялся и открыл собрание.

— Сельдь не ловится, — сказал он. — Почему она перестала ловиться, мы не знаем... Вот профессор предполагает, что рыба ушла вглубь и под лед. А товарищ Птичкин уверен, что ее нет совсем. Вопрос в том: что нам делать? «Буревестник» пробовал ловить треску на поддев, — рыба ловится неплохо. В случае, если сельди в фиорде нет, нам нужно немедленно переходить на тресковый лов. Нужно спешно отремонтировать посуду, подго-

товить снасть. Ну, а если сельдь все-таки есть? Преступлением было бы покинуть фиорд Извилистый, не выловив всех его запасов. Не забывайте: ведь мы рассчитывали выполнить к Первому мая годовой план! Вот мы и должны решить: как быть? Прошу бригадиров высказать свой взгляд на положение вещей.

Эйдельнанта слушали внимательно. В полумраке, в который сверху врывался голубой дымный столб солнечного света, сидело десятков пять ловцов — норвежцев, финнов, карелов, русских. Старики с лохматыми бородами, нахмуренными густыми бровями, гладко выбритая улыбчатая молодежь. У кого трубки, у кого папироски. Красные огоньки вспыхивали и гасли.

Первым заговорил плотный, круглолицый ловец лет тридцати пяти. Он вынул изо рта носогрейку, покачал головой.

— Рыбы нет, — сказал он веско и снова сунул в рот трубку.

— Товарищ Линде, вы ошибаетесь! — воскликнул профессор Световидов. — Рыба есть, ее не может не быть!

— Профессор, ради аллаха, не прерывайте Ряйне Линде! — сказал Птичкин. — Линде — умнейшая голова Баренцева моря. По его высказываниям о рыбе можно научные труды составлять!

— Почему, Ряйне, ты считаешь, что рыбы нет? — спросил Эйдельнант.

— Щупал около запора-гиганта. Раньше она там густо стояла, а теперь ничего нет.

— Так она ушла в глубь фиорда, к реке! Рыба голодна и ищет пищу, — не унимался профессор.

Орденоносец-финн снисходительно улыбнулся, выпустил из носогрейки синеватый клуб дыма и не вымолвил в ответ ни слова.

— А ты, Лагун, как думаешь? — спросил Эйдельнант.

— Думаю, запор прорвался, сельдь вытекла сквозь брешь...

— Может, продырявили запор! — подхватил бригадир Грустилин. — На днях я проезжал мимо, нарочно окликнул охрану — ни души!..

Капитан бота «Командарм» Игнат Фотнев усмехнулся, ощетинив рыжие усы.

— Ну уж и прорвали!.. Сельдь ушла верховодкой, над запором, — вот и все. Опустился он метра на четыре — что она смотреть будет?

— Дельно! — Птичкин постучал карандашом по столу. — Так и я думаю.

Споры могли бы тянуться несколько часов, но Эйдельнант, выяснив для себя настроение рыбаков, перешел к конкретным предложениям.

— Итак, большинство думает, — сказал он, — что сельдь

облавливать дальше нет смысла. Но в этом мы должны быть уверены, а для твердой уверенности нам необходимо произвести разведку в фиорде. Нет так ли?

Грустилин поднял руку.

— Нужно ощупать одновременно весь фиорд! — сказал он.

— Это верно, — поддержал Лагун. — По-моему, лучше всего начать шеренгой щупать от запора и пройти весь Извилистый. Только пусть нам товарищ Птичкин выдаст длинные щупы!

— Нет. — Ряйне Линде отрицательно покачал головой. — Шеренгой нехорошо — собьемся. Надо — участки. Каждой бригаде дать участок, пускай она его весь ощупает...

Так и порешили.

Через час на «Пурге» гремел голос Птичкина, выдававшего ловцам добавочные мотки стальной проволоки для удлинения щупов...

...Ночь была светло-синей. В блестящей, будто платиновой, воде змеились отражения судовых огней. То и дело слышалось: «Полный вперед!.. Стоп! Назад!.. Полный вперед!.. Стоп! Назад!..»

Бот «Пурга» всем своим тяжелым телом, обитым снизу ледовой защитой, врезался в поле рыхлого льда и, проломив в нем темную дорогу, останавливался. Затем, осторожно выбравшись задним ходом на свободную воду, снова разгонялся и снова крушил лед.

Эйдельнант расположился на носу. Он пристально смотрел вниз на всплывающие в фиолетовой воде по бокам бота куски льда.

Временами вблизи проскальзывала черная лодка с фонарем.

— Ну как, нащупали? — спрашивал Эйдельнант.

— Ничего нету! — откликались голоса.

То была решающая ночь. От результатов обследования зависело, быть еще плавучему городу в фиорде Извилистом или он должен распасться, рассыпаться на сотни отдельных судов, бороздящих в разных направлениях Баренцево море.

Чтобы не было никаких сомнений, Эйдельнант решил размельчить ледяной покров, под которым профессор Световидов подозревал наличие косяков. Проверен должен быть каждый метр фиорда! И все-таки массовая разведка показала — рыбы в Извилистом нет.

На следующий день Эйдельнант в расстегнутом ватнике и сдвинутой по обыкновению на затылок финке сидел в кают-компании «Пурги». Прищурив усталые глаза, он безучастно

прислушивался к словам капитаиа «Комаидарма» Игната Фотиева, уже с утра бывшего под хмельком. Не один Фотиев иавеселе сегодня. Узнав, что сельдяной лов закоичеи, ловцы с самого раннего утра заходили иа «Пургу» и, смущеино улыбаясь, просили Эйдельнанта «выписать коньячку». Комаида каждого рыбачьего бота решила устроить свой собствениый маленький баикет: ящики коифет, печений и яблок были иачисто разобраны в кооперативе на «Акуле».

Рядом с Игнатом Фотиевым сидел его сын Алексей.

— Вы иаучиики-теористы, а мы... — бормотал Игнат, — мы камеиные люди!.. Дайте папироску. Спасибо... Да, камениые люди. Но мы должны держаться один за другого. Вот что. А Пашка Лагун — что? Получил ордеи и — иа тебе — иос задрал!..

— Батя! Идем-ка, — десятый раз дернул отца за рукав Алексей.

— Дай, дурак, с человеком поговорить!

— Почему ты думаешь, что он иос задрал? — осведомился Эйдельиаит.

— Я, может, два года на красиой доске висел... Себя не жалею. Правду я говорю, Алешка, или иеправду?

— Правду, батя. Только пойдем-ка! — Алексей снова дериул отца за рукав.

— Погоди! Ты лучше скажи: кто первый освоил кошельковый иевод? Игнат Фотиев! А кто освоил дифтерный невод? Опять он, Игиат Фотиев!

— Батя, пойдем-ка...

— Погоди! А кто революцию делал? Игнат Фотиев революцию делал! Да!.. А передо мною мальчишка нос задрал... А?.. И Лагун Пашка и Костька Грустилин. Намеднясь говорят: прорвали, мол, запор-гигант! А как его могли прорвать-то? Ну как его прорвешь? Он глыбако. Верио?

— Батя, пойдем...

— Что ты к Лагуиу прицепился? — с досадой спросил Эйдельнант. — Он свое заслужил.

Наверху открылись дверцы капа, и, сопровождаемые струей сырого воздуха, в кают-компанию спустились два ловца. Одии — громадный, широкоплечий бригадир Миша Бугаев. Второй — голубоглазый, румяный, с короткой трубочкой во рту.

— Мы за патефошей, — улыбаясь, сказал Бугаев.

— Последний остался, — ответил Эйдельнант. Ему на днях доставили партию патефонов для премироваиия и продажи по поиижеиной цене среди ловцов. — И пластинок всего две.

— Знаем, знаем! — Ловец с трубочкой выдвинулся из-за спины Бугаева. — Да зато хорошая есть одна...

Эйдельнант завел патефон, поставил пластинку.

— «Ай да василечки!..» — завопил хриплый женский голос.

— Не та, не та! — Ловец с трубочкой замахал руками. — Чайкина тут имелась пластинка.

— Может быть, Чайковского? — улыбнулся Эйдельнант и переменил пластинку.

По мере того как чудесные печальные звуки наполняли кают-компанию, лицо голубоглазого ловца расплывалось в счастливой улыбке.

— Давайте патефон, — сказал Бугаев. — Запишите на мой счет. Сколько он стоит?

И, бережно взяв в свои могучие руки патефон, он начал взбираться по лесенке.

— Музыка, — бормотал Игнат Фотиев, — что нам в музыке? Нас музыкой не проведешь!..

Со всех сторон доносились звуки гармошек и песни. Ловцы прощались с фиордом Извилистым. Ночью на скалистых берегах вспыхнули огромные костры. А с рассветом следующего дня один за другим боты уходили в открытое море. Огромная армия рыбаков рассеялась. Фиорд опустел...

3

Секретарь редакции салнынской многотиражки «Атакуем рыбу» Давид Зюс, позевывая, спустился с верхней койки. Кубрик, выкрашенный в грязно-желтый цвет, был полон дыма. Два ловца сидели, опершись локтями на стол, и курили. Жара была нестерпимая, но один из ловцов время от времени подбрасывал в печку дрова; сальные ватники и шерстяные носки, повешенные для просушки, мерно раскачивались над нею. За занавесками коек слышалось дружное храпение команды.

— Паршивая скорлупа! — провочал Давид Зюс и полез по крутому трапу на палубу.

Мотобот «Палтус» уже четверть часа как покинул морской простор и шел по Кольскому заливу между двух рядов заснеженных гор, пылавших в лучах солнца белым пламенем. В обрамлении гор залив был похож на гигантский коридор, потолком которому служило бирюзовое небо с едва приметными белыми облачками, полом — густо-синяя вода. Валы мертвой

зыби то подиимали суденышко, то опускали его. У форштевия вскипала легкая белая пеиа.

Вначале круглое лицо Зюса было мрачным. Тонкие губы недобро кривились. Но вскоре под влиянием чудесиого утра мрачное выражение сменилось восторженой улыбкой.

— Север! — прошептал он. — Я влюблеи в тебя. Это глупо, чертовски глупо, но я влюблен...

Он подозрительно посмотрел на штурвального. Тот застыл возле раскрытого окна рубки, устремив взгляд далеко вперед: стук мотора, видимо, заглушал для него все другие звуки.

Убедившись, что его никто ие слушает, Зюс продолжал шептать. Привычка разговаривать с самим собою выработалась в нем потому, что, до крайности застенчивый, он избегал людей.

— Север, север, — шептал он, — я ие променяю голых твоих скал, суровой синевы этого холодного моря ни на пышные, звеиящие птицами леса Кавказа, ни иа ароматные степи Украины, ни на березы и липы Поволжья... Почему, за что я так полюбил тебя?..

Ои замолчал, вздохнул, снова покосившись на штурвального.

— Будь у меня талаит... я создал бы поэму о Кольском заливе. Она так и называлась бы: «Кольский залив». Я рассказал бы всю его историю; показал бы древних светлоглазых саамов, одетых в шкуры, которые промышляли здесь рыбу, их битвы с новгородцами, когда здесь свистели стрелы и грохотали пищали. Показал бы неуклюжие шняки первых русских колонистов, бегущие под парусами по этим самым волнам. Показал бы, как, вспенивая волны, пролетали здесь быстроходные суда скандинавов, и сиова грохотали выстрелы. Много видели эти скалы! Видели шхуны скупщиков, более жестоких и хищных, чем морские разбойники, первые пароходы англичаи, разоривших русский форпост, суда всех племен, всех народов... И наконец, в восемнадцатом году — стальные плавучие крепости с вымпелами Великобритаиии, Италии, Франции, наводившие орудия на эти берега. И закончил бы я поэму сегодияшним дием — воспел бы трудовую доблесть наших рыбаков!

Вдали показался Мурманск, раскинувшийся по уступам гор. В лучах солнца его деревянные дома, между которых поднимались к небу новые многоэтажные железобетонные корпуса в строительных лесах, блистали так, словно бревна их были из чистейшего золота. На светло-сиреневой воде рейда лениво покачивались бесчисленные суда: высокие нарядные корабли

дальнего плавания, над которыми медлительно шевелились руки кранов, буксиры и тральщики, шхуны, рыбачьи боты. У левого берега замерли три миноносца.

Свободные от вахты матросы «Палтуса» вышли на палубу. Жадно вдыхая свежий, пахнущий снегом и рыбой воздух, они неотрывно смотрели на порт такими же зачарованными глазами, какими смотрел на него Давид Зюс. Но вот заскрежетала якорная цепь, с плеском обрушиваясь в воду. Отвязали шлюпку и, лавируя между судов, подошли к берегу...

День Давида Зюса в Мурманске прошел в скитаниях по городу — он разыскивал Лагуна, который вместе с ботами «Самойлович» и «Командарм», требовавшими ремонта, не поехал прямо в Салнынь, а задержался здесь. Председатель колхоза «Звезда Севера» Чичибабин настаивал на том, чтобы о знатном человеке колхоза Павле Лагуне в салнынской газете появилась статья. И Зюс, не откладывая дело, интересовавшее его самого, отправился с попутным ботом «Палтус» в Мурманск, чтобы повидаться с молодым орденоносцем.

— Черт возьми! — бормотал он, шагая по деревянным тротуарам, облепленным мокрым снегом. — Если бы я мог написать о Лагуне так, как мне хотелось бы, — без всякой казенщины! Это должна быть теплая, сердечная статья. Что я, не знаю Пашку, что ли? Ого! Нет, аллилуйству я не дам места в статье — черта с два! Искренний, простой рассказ о дельном, честном молодом бригадире...

Ему давно нравился Лагун, его ровесник, чуточку неповоротливый, мускулистый, сильный, с бесхитростной улыбкой на губах, с колечками русых волос над широким лбом.

И вот Павел Лагун — герой, а Давид приехал, чтобы разыскать его и написать о нем хвалебную статью.

Молодого журналиста обуревали сложные чувства. Быть может, в глубине его души шевелилась и добрая зависть.

— Все-таки радостно, честное слово, радостно! — прошептал Давид, поднимаясь на широкое деревянное крыльцо Рыбколхозсоюза. — Новые люди растут, растут победители...

В Рыбколхозсоюзе бухгалтер сказал Зюсу:

— Какая жалость! Лагун только что отбыл в компании приятелей. — И добавил улыбаясь: — Вы ведь знаете, он теперь...

— Знаю. Куда он мог уйти?

— Думаю, что в «Арктику». Куда же еще?..

Давид повернулся и вышел в коридор, где перед ним тотчас возникла гигантская, тучная фигура, загородившая проход.

— Зюс! Как она, жизнь? — Технорук Птичкин что есть мо-

чи хлопнул журналиста по худому плечу. — Чего тебя на сельди не было? Ведь вашему брату там — столько поживы!

— Здравствуйте! — кисло откликнулся Зюс. Напоминание о том, что он пропустил сельдяной лов, было ему весьма неприятно: виною тому был Чичибабин, оставивший его в Салиыни. — Решил, что и без меня обойдутся...

— И обошлись и обошлись, голубок! А здесь ты зачем?

— Лагуна не видал?

— Ага! — в упоении загремел Птичкин. — Пресса за него берется! Вот она, слава! Лагуна я видал. Навстречу мне попался с ребятами. Закуривай, — у меня хорошие папиросы!

Но Зюс махнул рукой и пустился догонять своего неуловимого героя.

Нашел он колхозников «Звезды Севера», а в их числе и Лагуна, лишь поздно вечером. В четвертый раз заглянув в ресторан «Арктика», он увидел рыбаков за одним из столиков под пальмой.

Зал, в огромные окна которого заглядывала сапфирная полярная ночь, был залит электричеством, заполнен грохотом джаза. За столиками расположились матросы, хозяйственники, железнодорожные рабочие, портовики, рыбаки-колхозники, какие-то подозрительные типы, шепчущиеся друг с другом через барьеры пивных бутылок. В свободном пространстве между столиками отплясывали моряки со своими подругами. Официанты, рослые молодцы в белоснежных кителях, порхали взад и вперед, высоко подымая подносы с красиво разложенными закусками и батареями вин.

Лагун и его товарищи сидели в самом центре зала. Почти весь собравшийся здесь народ был основательно прокален ветрами Заполярья. Но ловцы резко выделялись среди всех своими могучими медвежьими телами, бронзово-румяными, замкнутыми лицами. В лоснящихся ватниках и пудовых сапожищах они чувствовали себя несколько стесненными в этом пестром обществе и разговаривали тихо, вполголоса.

Ловцов было четверо. Давид Зюс, занявший столик в углу, внимательно разглядывал ястребиную голову Игната Фотиева, широчайшую спину Миши Бугаева, улыбающееся лицо Персонова с голубыми, искрящимися глазами и твердый профиль Лагуна с его белыми ровными зубами и колечками золотистых волос.

На столе перед ними возвышалась ваза апельсинов, блюдо пирожных «наполеон» и два серебряных ведерка, в которых, окруженные льдом, полулежали бутылки шампанского. На полу под столом стояли пустые пивные и водочные бутылки.

цедя сквозь зубы шампанское, ловцы неспешно о чем-то беседовали. Раза три Бугаев поднимался, нетвердой походкой подходил к эстраде и, положив у ног скрипача червонец, бормотал: «Сыграйте мне «По долинам и по взгорьям».

Скрипач кивал — джаз, поспешно закончив танго или румбу, принимался выполнять заказ Бугаева. На него, наконец, стали смотреть с неодобрением; танцующих бесили причуды гиганта-ловца, то и дело прерывавшего их краткое береговое веселье.

— Нет, ты пей! — услышал вдруг Зюс громко, на весь зал прозвучавший голос Бугаева.

— Спрячь бутылку, — отвечал Лагун. — Водки больше не пью.

— Что значит — не пью? Друг ты мне или не друг?

Коричневое лицо Лагуна медленно краснело.

— Убери бутылку. Я сказал: водку пить не стану!

— То есть как не станешь? Ты что ж, дружбу забываешь? Загордился? Его, понимаешь, орденом наградили, так он гордиться!..

К столику спешили три официанта.

— Миша, прошу тебя, не скандаль, милый Миша! — со слезами в голосе заговорил Персонов.

— Не скандаль? А разве я скандалю? Я его добром прошу, как друга прошу. А он гордиться!

— Гражданин, не безобразьте! — официант опасливым взором окинул могучую фигуру Бугаева. — Вам лучше бы уйти.

— Уйти?! Я тебе уйду! Кто ты такой, чтоб гнать бригадира Михаила Бугаева?!

Лагун поспешно расплачивался с официантом.

— Пойдем, — сказал он Персонову.

— Миша, не скандаль, миленький! Видишь, нас вытуряют, ну как не совестно! — бормотал Персонов.

— Отойди, ты! — Бугаев отпихнул официанта. — Пашка, я тебе говорю, пей! Не то ударю, честное слово, ударю. Ты пойми — обидно. Загордился!

— Пойдем. — Лагун взял под руку Игната Фотиева, обнял Персонова и двинулся к выходу.

— Стой! — крикнул Бугаев. Однако, видя, что Лагун даже не оглянулся, он поплелся вслед за приятелями. В руке он все еще держал бутылку.

Давид Зюс подозвал официанта, расплатился и поспешил к выходу. И в ту же минуту на улице раздался крик, послышалось шарканье ног, глухой звук удара и шум падения.

Зюс выбежал иа улицу н увндел лежащего на ступеньках навзиичь Лагуна. Лицо его было залито кровью.

— Милнцню! — взвизгиула какая-то нарядная женщина.

— Побеглн за ей, — сказал швейцар в золотых галуиах. — Сей момент здесь будет.

Давнд Зюс, иаклоиившнсь над Лагуиом, попробовал подиять его.

— Паша, Паша! Это я, Зюс!

Лагуи медлеиио раскрыл глаза.

— Не надо... мнлицию, — проговорнл ои и, оперпшсь на руку Зюса, встал. — Чем это ои меия?

— Бутылкой, — сказал Фотиев. — Бутылкой ои тебя по башке.

— Пашка, друг, ей-богу... Ей-богу! — Бугаев гладнл Лагуна рукой по волосам, всхлипывал. — Паша, друг...

— Пошли, — сказал Лагун. — Пошли, пока милицин нет...

4

Салнынь — типичное рыбачье становище. Расположено оно иа песчаном берегу губы Салиынской, возле устья быстрой реки Салныии. Кругом скалы, некоторые пологие, облизанные ветрами, другие зубчатые, возносящиеся в небо огромиым каменным масснвом. Губа прнчудлнво изрезана. Во время прилива все впадииы ее скрываются под водою; отлив обнажает мокрый песок, усеянный мертвой рыбой, водорослями.

Главная улица стаиовища повторяет все изгнбы реки. По сторонам ее — хибарки, неровиая цепь которых прерывается двухэтажным зданнем кооператива н правления колхоза, складамн, закопчеииымн ремонтиымн мастерскнмн. Параллельио главиой тяиется еще ряд улиц с обвешанными сетями домишками, которые иастолько малы, что, кажется, можно, взяв их как сундучок под мышку, перенести с места на место. Между домиками бродят, подбирая рыбьи внутреиностн и другие отбросы, печальиые овцы. В клетках около некоторых домов иеустаино мечутся песцы...

Река, уходящая сверкающей лентой в отвесные горы, переполиеиа около Салныни рыбачьнмн судами. Они стоят на рейде у высоких деревянных причалов, заваленных бочками, ящикамн, мотками канатов.

Когда заходящее на короткий отдых солнце зальет Салныиь расплавленной бронзой, когда снег окраснтся в сиреиевые, а лед в багряиые тона, когда небо над Салиынью станет

зеленоватым с лимонно-желтыми и кораллово-розовыми облачками, тогда нет сил оторваться от этого северного селенья. Но когда небо серо, когда гудит ледяной ветер и скалы покрыты снегом, тогда невольно думается о том — долго ли еще будут существовать эти конуры, в которых не может выпрямиться во весь рост человек?

Опустив забинтованную голову, Лагун медленно брел по главной улице. Становище, и раньше-то ничем его не поражавшее — чего ждать от заполярной деревушки? — сейчас произвело на него гнетущее впечатление. Отбросы, валявшиеся на улице, закопченные конуры бань, сгнившие лодки, прислоненные к ветхим стенам домишек, — он точно впервые заметил все это убожество.

«Как можно так жить?» — вот первая мысль, возникшая в голове Лагуна, едва только он сошел с бота в Салныни. И мысль эта назойливо преследовала его, как ни старался он ее отогнать.

В жизни бывают события, резко изменяющие наше отношение к окружающему нас миру и к самим себе. Мы вдруг становимся как бы другими людьми, плохо нам самим еще понятными. Подмечая в себе новые чувства, новые мысли, мы дивимся происшедшей в нас перемене и не можем сразу свыкнуться с нею. Со временем это душевное смятение сменится спокойствием: разобравшись в своем обновленном «я», нам захочется действовать, но уже в соответствии с новыми своими взглядами, с новыми своими силами...

Награждение бригадира Павла Лагуна орденом было для него событием такого рода. Все как бы переместилось. Многое из того, мимо чего он прежде проходил равнодушно, теперь приковывало его внимание. Многое из того, что раньше волновало его, стало безразличным...

«Как можно так жить, как можно так жить? И это при том, что мы зарабатываем такие деньги?!» — беспрестанно повторял он про себя.

У причала стоял бот финского колхоза «Кола», выкрашенный светло-серой краской. Палуба его поразила Лагуна опрятностью: ни нефтяных пятен, ни спутанных концов, ни набросанных досок.

«Почему же наши боты грязны, закопчены, не красились с того дня, как их выпустила верфь?» — с досадой подумал Лагун.

На берегу на низких козлах лежали полузасыпанные снегом невода.

«Если их так оставить — запреют, сгниют», — подумал Лагун, проходя мимо.

Около кооператива ему пришлось увидеть настоящую битву: привезли несколько ящиков яблок. Рыбачки в темных потрепанных платьях лезли, толкая друг друга корзинами и локтями, в маленькую темную дверцу лавки. Кричали они пронзительнее чаек на птичьем базаре.

«При заработках их мужей они могли бы одеться так, как не одеваются и москвички», — подумал Лагун.

Из другой кооперативной лавки пять ловцов с оживленными лицами выкатывали большую бочку пива.

— Наше вам! — крикнул один из них, поворачивая в сторону Лагуна румяное лицо, обросшее медной щетиной. — Пришвартовывайся, Паша!

Лагун молча покачал головой и пошел дальше. Тоска, овладевшая им, стала до того острой и гнетущей, что ему требовалась какая-то разрядка. Спасаясь от этого настроения, он решил пойти на стройку нового поселка — посмотреть, что там успели сделать. Свернув с главной улицы, он зашагал через снежное поле, за которым виднелись большие срубы.

Несколько плотников сидели на бревнах и преспокойно курили. Другие, оседлав край сруба, вяло постукивали топорами. Двое распиливали толстые бревна. Сделано было так мало, точно и не прошло шести месяцев с того времени, когда Лагун был здесь в последний раз.

Он подошел к пильщикам.

— Вы что делаете?! — спросил он, тронув одного из них за плечо.

Тот повернул к нему лицо, чуть не до глаз заросшее русой путаной бородой.

— А ты кто таков?

— Зачем, я спрашиваю, бревна пилите?

— На дрова.

— На дрова?! Да вы очумели? Хорошие сосновые бревна — на дрова!

— Ну что орешь? Чего орешь-то? Нам приказано, мы и делаем. Не для себя, чай, пилим-то.

— Кто приказал?

— Кто? Известно, кто нам приказывает. Раздобреев приказал...

Лагун молчал. Раздобреев был членом правления колхоза, заведовал стройкой.

Свернув папиросу, Лагун присел рядом с плотником на бревно.

— Что так мало сделали?

— Нам бы стройматериал вовремя подвозили — мы бы уж пять домов кончили. — Плотник вздохнул. — А то везут по чайной ложке...

— Так сейчас-то лес есть? Какого же ляда вы сидите?

— Сегодня есть, завтра не будет... Торопиться не приходится...

Лагун увидел приближающуюся к ним женскую фигуру. Чем ближе она подходила, тем менее решительными делались ее шаги. Медленно приблизившись к стройке, она остановилась. Это была девушка лет девятнадцати, небольшого роста, с ярчайшим румянцем на щеках и огромными синими глазами. Из-под сбившегося назад белого пухового платка выглядывали пышные, почти красные волосы, вздернутый маленький нос был щедро осыпан веснушками.

— Здравствуй, Паша! — негромко сказала она, стесняясь плотников, глядевших на нее.

— Здравствуй, Таля! — Лагун поднялся с бревна.

— Пойдем по берегу, — совсем тихо предложила девушка после краткого молчания.

— Пойдем...

— Ну вот, Паша, ты и приехал, — проговорила Таля, после того как они минут десять молча шагали по берегу, на который накатывались синие волны, оставляя за собою на песке тающую пену.

— Приехал...

— Намучился на лову-то?

— Нет, отчего?

— Как питались там?

— Всего было: ветчина, картошка, апельсины...

— А нам ничего не подвозят.

— В Салиынь только и знают что подвозить — вино.

— Что это у тебя голова?..

— Мишка ударил. В Мурманске... Ерунда!

— Паша, а я как соскучилась!

Лагун промолчал.

— Знаешь, Паша, к нам театр приезжал, — три артистки...

Лагун молчал, шагая рядом с девушкой и поглядывая на гряду гор, уходящих далеко в море. Он чувствовал, как прекрасна, как величественна здесь природа. А люди?..

— Паша, — после долгой паузы почти шепотом произнесла Таля. — Паша, ты ведь теперь... герой! — В неудержимом порыве она прижалась к нему, заглянула ему в глаза. И встретила угрюмый, отчужденный взгляд...

— Почему ты... такой? — девушка отпрянула от него, остановилась.

— Какой «такой»?

Синие глаза Тали повлажнели. Не ответив, она пошла назад, в сторону Салныин...

5

Предколхоза Степан Степанович Чичибабин взбежал по крутой лесенке нового дома, на котором висела жестяная вывеска с намалеванными на ней лазоревым морем, желтым ботом и красным рыбаком, держащим в руке огромную сизую треску. Надпись, выведенная белилами, гласила: «Рыбопромысловый колхоз «Звезда Севера». Окинув с высоты крыльца быстрым взглядом улицу с ее овцами и курами, Чичибабин толкнул дверь и, споткнувшись о чью-то громадную черную собаку лайку, вошел в правление.

В просторной комнате на узких скамьях вдоль бревенчатых стен сидели ловцы, отчаянно дымили папиросами.

Чичибабин по очереди пожал своей короткопалой рукой шершавые большие руки ловцов. Затем опустился на стул за письменным столом под висячим телефоном.

— Не то, что в стареньком, а? — Он подмигнул ловцу с короткими ногами и узким морщинистым лицом. — Как, Архипыч?

Этим замечанием, повторяемым почти ежедневно, Чичибабин говорил не столько о том, что новое помещение правления колхоза лучше старого, сколько намекал на то, что колхоз под его, Чичибабина, руководством стал лучше. Впрочем, так оно и было: до него «Звезда Севера» редко выполняла план.

— Совсем не то, Степан Степанович! — отозвался ловец, названный Архипычем.

Рядом с ним сидел другой пожилой ловец в оранжевом овчинном тулупе, Гаврила Вдовушин. Пожевав губами, он изрек:

— Не в помещении суть, а в тех, кто сидит в них!..

Чичибабин хотел было ответить на это замечание, явно направленное на то, чтобы его задеть, но сдержался.

Не поглядев даже на «забияку», он потер ладонь о ладонь и спросил:

— Раздобреев не приходил?

— Как не заходил? Заходил, — ответил Архипыч. — Побежал на сетевязку.

— Ранняя птица, ха-ха!.. Кульков! — крикнул Чичибабин.

— Ай? — откликнулся хриплый басок из второй комнаты, из которой доносилось щелканье на счетах.

— Смету на плавучий мост составили?

— Есть такое дело! — В рамке дверей появился широкоплечий человек в кожаной фуражке и бобриковой куртке, колхозный бухгалтер Кульков. Русая бородка обрамляла его румяное лицо с толстым носом и маленькими прищуренными голубыми глазками. Добродушно ухмыляясь, он протянул Чичибабину листок. — Значит, скоро мосток раскинем, Степан Степаныч? Социализм в Салныни, право слово...

— Строим, строим, Кульков!

— Строим, Степан Степаныч...

Гаврила Вдовушин пожал плечами и, глядя на шкап, стоящий против него, сказал:

— Плавучий мост? Выдумали... Смехота!

Чичибабин хлопнул себя вдруг по лбу и отчаянно завертел ручку телефона.

— Алло! Мурманск! Чичибабин просит. Мурманск? Один — семьдесят два... Мурманрыбсоюз? Говорит Чичибабин. Чи-чиба-бин! Оглохли вы, что ли? Эйдельнанта попросите-ка. Шура? Шура, здорово! Чичибабин говорит. Ага! Ничего. Слушай, Шура, как там с сапогами? Что? Роздали?! Да как же так? Ведь я, по-моему, предупреждал... До колен? — Чичибабин прикрыл трубку рукою и обратился к ловцам: — Сапоги только до колен. Брать?

— Надошьем! Со старых верха заберем, — сказал Кульков.

— Шура, слушаешь? Давай! Двести пар, по крайней мере. Верха мы сами надошьем. Да! Шура, а мануфактуру посылаете? Посылайте побольше. Ладно, ладно. Жму лапу!.. Ух, надорвешь глотку! — Повесив трубку, Чичибабин потер шею. — Как с ремонтом «Булиндера»?

— Двигается помаленьку, — ответил Кульков.

— Как только мост закончим, тотчас перекидывай людей на факторию. Рыбу, если поднавалит, некуда принимать будет, ей-богу.

— Ну, коли поднавалит, — пришлют парусники...

Дверь с улицы отворилась, и вошел огромный синеглазый человек. Он был без шапки, в темных с сединою волосах таяли снежинки. Грудь его обтягивала черная шерстяная фуфайка, на которой поблескивал орден боевого Красного Знамени.

— Раздобреев, вот и ты! — воскликнул Чичибабин.

— Послушай, был я на сетевязке — дель кончается! — сказал вошедший.

Чичибабин закрутил ручку телефона.

— Алло! Мурманск? Просит Чичибабин. Один — семьдесят два. Мурманрыбсоюз? Говорит Чичибабин. Оглохли вы, что ли? Чи-чи-ба-бин! Эйдельнанта попросите-ка. Нету? Досадно. Птичкин там? Птичкин! А я тебя не узнал. И ты меня? Так я же тебе свое имя сказал. Не расслышал? Ха-ха... Слушай, голуба, у нас дель кончилась, так вы пошлите. На тресковые, конечно. Нет, пеньку к черту, шлите фильдекосовую. Мне сапоги пошлют на «Кайре», так ты вместе присовокупи. Ставные сети? Сколько их у тебя? Давай все двадцать. Кухтыли у нас есть... Ну ладно, пока. Жму лапу!

6

Траулер «Сайда» шел вдоль берега Кольского полуострова, держа курс на вест-норд.

Это был один из тех траулеров последнего выпуска, которых с полным основанием называют плавучими фабриками. Стройное, окрашенное в зеленый цвет судно несло в своих недрах всевозможные рыбообрабатывающие механизмы, начиная от режущих установок и кончая котлами салотопки. Для провоза рыбы в свежем виде оно загружало в трюм до пятидесяти тонн льда, для засолки и клипфиска — до сорока тонн соли. Каюты команды были комфортабельными. Все судно освещалось электричеством и обслуживалось первоклассными радиоустановками.

Обычно «Сайда», как и другие траулеры — их теперь на Севере целые стаи, — уходила далеко в открытое море на мелководные банки и блуждала там в течение месяца, пока трюм не оказывался плотно набитым треской, палтусом, камбалой и другими видами донной рыбы.

Но сегодня траулер шел не для обычных своих дел. Целью рейса была Дельфинья губа, где собирались провести какие-то важные опыты.

— Каждый раз, когда я гляжу на это нагромождение камней, — сказал капитан, движением подбородка указывая на берег, — я вспоминаю горячие дни молодости — моей молодости и молодости республики.

Эйдельнант, стоявший на мостике, казался мальчиком рядом с внушительной фигурой капитана, на бушлате которого блестел орден боевого Красного Знамени. Капитан «Сайды» отличался таким же могучим телосложением, что и Птичкин, но состоял весь из мышц и костей: ни грана жира не было в его крупном волосатом теле.

Он посмотрел на Эйдельнанта, как бы ожидая вопроса. И Эйдельнант спросил:

— Орден с тех времен?

— Нет, орден за борьбу с басмачеством. А тут ордена я не получил, хотя мы с моим другом Кайлой понаделали здесь столько, сколько мне раньше не доводилось делать... Да разве и в орденах дело? В те годы было столько проявлено героизма, что нужен миллион орденов, если всех награждать... Ведь главная наша награда — вот она: море, полуостров, материк, вся наша одна шестая света. Не так ли, а?

— Так. — Эйдельнант улыбнулся.

— Об этом горевать не приходится! И если бы не потеря друга, был бы я счастливейшим в мире человеком. Да и как иначе? У меня красавица «Сайда», славная команда, хорошая жена, в перспективе девятый уже гражданин Советского Союза собственного производства. Но я до сих пор, верите или нет, горюю о том, что Кайла, друг мой, брат моей молодости, погиб... И где поцеловала его пуля или в какой тюрьме беляки сгноили его — не знаю...

Капитан извлек из кармана алюминиевую флягу, откупорил, хлебнул из горлышка, спрятал ее и задумался, опершись на перила мостика.

...Миновав остров Бакланий, над которым вились тысячи чаек, «Сайда» сделала плавный полукруг, целясь в горловину Дельфиньей губы.

Губа эта не слишком велика, но глубока. Отвесные розоватые горы с темными пятнами лишаев обрамляют ее. В глубине губы на берегу лепилось крошечное становище — домишки, крытые дерном.

Капитан «Сайды» дал несколько гудков и, вооружившись рупором, прокричал в сторону людей, толпившихся на берегу:

— Эй! Дали проход?

— Проходите! — ответили с берега.

«Сайда» тихим ходом скользнула в губу поверх невода, преграждавшего рыбе выход, здесь, в Дельфиньей губе, специально для испытания электрического запора, которое должно было произойти сегодня, сохранялись запасы сельди.

Как только траулер остановился, к нему подошла лодка. Приняв на борт Эйдельнанта, она доставила его на берег, где на круглых влажных камнях стояла небольшая группа людей — ловцы колхоза «Огни Заполярья».

— Ну как, все готово? — спросил Эйдельнант, спрыгивая

на камень и пожимая руку председателю, молодому загорелому парню.

— Сельдь мы уже обметали, товарищ Эйдельнант, — отвечал тот, вытягиваясь по-военному.

— Тогда подбуксуйте кошелек к тральщику.

— Есть, товарищ Эйдельнант!

— Ну, а как у вас дела, как жизнь? — обратился Эйдельнант к ловцам, пожимая им руки.

— Ничего дела, товарищ Эйдельнант. Зверя подбили полдюжины штук, — ответил один из ловцов, кивнув головой в сторону груды тюленьих туш, покрытых серебристым плюшем мягкого меха.

— Женщинов только не хватает, — сказал второй.

— Женщинов и лесу для постройки, — поддержал третий. — Мерзнем — дома-то из досок.

— С лесом, товарищи, плоховато. Но насчет домов я уже распорядился, чтобы в Дельфинью доставили несколько разборных. Скоро будут. А насчет женщин — не берусь!

Ловцы рассмеялись.

На «Сайде» из кают-компании вышли изобретатель электрического запора, старый большевик Леонард Витель, техноурк Птичкин и профессор Световидов.

— Наш спор, — говорил профессор Световидов, обращаясь к Птичкину, — все тот же, что и раньше, Яков Павлович. Мы никогда не сможем согласиться с вами. Я — энтузиаст науки, вы — агностик, скептик. Вам бы быть последователем Бэркли и Локка, а никак не Маркса и Энгельса! Насколько я помню, мы так же дискутировали по вопросу о металлических неводах. Вы говорили — утопия, я доказывал, что металлические запоры — переворот в нашем промысле. Теперь их высокая экономичность доказана, особенно для губ с большим течением. Сегодня же, Яков Павлович, мы присутствуем при событии наиважнейшем. Если опыт удастся, то это — титанический прыжок. Это — революция в технологии рыбного дела. А вы опять не верите. Удивительный человек!

Птичкин с насмешливым видом помалкивал. Леонард Витель, улыбаясь, внимательно слушал профессора.

— Вспомним хотя бы недавний казус в Извилистом, — продолжал профессор. — Прорыв запора-гиганта сорвал нам окончание блестящего лова. Представьте себе, что запор был бы металлическим, — разве возможен был бы этот прискорбный случай? А теперь представьте себе, что это даже не запор, а просто электрическое поле, не пропускающее сельдь!

— Профессор, я же не отрицаю, что в случае, если опыты

будут удачными... — начал было Птичкин. Но в это время к траулеру подошел бот «Кубас», буксирующий кошельковый невод, в котором находилось по крайней мере тонн пятьдесят сельди. Витель спустился в шлюпку и, подойдя в ней к неводу, начал возиться с проводами.

Эйдельнант на лодке, теперь низко осевшей, так как она была битком набита ловцами, приближался к «Сайде». Когда все, включая Вителя, поднялись на палубу, последний крикнул с ее высоты председателю колхоза, распоряжавшемуся на «Кубасе»:

— Освободите сельдь от невода!

— Сейчас мы будем наблюдать печальную картину, — сказал Птичкин. — Сельдь махнет хвостиком, и поминай как звали!..

Профессор Световидов бросил на Птичкина гневный взгляд, но ничего не сказал. Он явно волновался.

— Есть освободить сельдь!

Несколько ловцов не без труда распустили кошелек. В прозрачной воде было видно, как косяк, похожий на темное облако, начал расширяться, одновременно редея. Витель щелкнул рубильником. Люди, следившие за сельдью с борта «Самойловича» и с «Кубаса», увидели нечто изумительное: рыба мгновенно шарахнулась назад и снова собралась в плотное ядро.

— Чертовщина! — прошептал Птичкин.

Витель, бледный от волнения, нахмуренный, словно успех опыта нисколько его не удивлял, выключил ток. Сельдь снова начала растекаться. И снова, подвластная его воле, собралась в ядро, как только он повернул рубильник.

— Вот это да! — взволнованно проговорил один из ловцов-колхозников. Он снял шапку, растерянно помахал ею. — Эдак мы на сельди как на гармошке наигрывать научимся! Хотим то, хотим се. А, товарищ Эйдельнант?

— По нашему велению рыба на палубу скоро прыгать начнет, — откликнулся другой ловец и расправил седые моржовые усы, как бы для того, чтобы дать возможность большому своему рту улыбаться без помехи.

Так громче, музыка,
Играй побе-еду!..—

напевал профессор тонким, почти девичьим голоском...

Когда «Сайда» уходила из Дельфиньей губы, солнце садилось. А в мире нет ничего более великолепного, чем северный закат с его жемчужными облаками и расплавленными рубинами...

У горловины губы, на скале, казавшейся глыбой полированной меди, стояла маленькая девочка в красных чулочках и махала траулеру рукою.

— Твое изобретение, — сказал Эйдельнант, обнимая Леонарда Вителя, — это миллионы и миллионы экономии. А ты сам... — он не договорил, только улыбнулся. И Витель ответил ему улыбкой. Они прошли в кают-компанию, где профессор Световидов объяснял команде значение только что проведенного опыта...

7

Таля Маймина приехала в Салнынь десять месяцев назад из деревни, расположенной близ Новгорода. Выписал Талю сюда ее дядя, капитан бота Егор Маймин. У него она и поселилась.

Суровая природа Арктики поначалу испугала девушку. После полей, густолистных лесов, мягко-округлых холмов, покрытых зеленой муравой, после тихих солнечных речек — голые скалы, песок, темно-синее, вечно неспокойное море показались ей страшными. Однако очень скоро она привыкла к Заполярью и, как большинство побывавших на Крайнем Севере, неприметно для себя полюбила его угрюмую пустынность, может быть, даже больше, сильнее, чем ласковые пейзажи родины.

С Лагуном она повстречалась, — и эта встреча в жизни Тали Майминой сыграла немалую роль, — за несколько месяцев до сельдяной путины, в церкви, где теперь помещался салнынский клуб. Вскоре после приезда Тали в клубе, как обычно по выходным дням, были устроены танцы. Костя Грустилин в черной бархатной куртке, синих, подшитых желтой кожей галифе и разукрашенных пестрыми лоскутами пимах, — он тогда ухаживал за Соней Витель и франтовство его не имело границ, — сидел на скамье возле бывшего амвона и извлекал из своего баяна самые душещипательные звуки. В другом конце амвона поместился со своей «венкой» Миша Бугаев, с нетерпением поджидая, когда Костя захочет отдохнуть, чтобы немедля подхватить мелодию вальса и повести ее на резких голосах своей «армейской подружки».

По дощатому полу, шаркая и притопывая так усердно, что ветхая церквушка дрожала и скрипела, кружились принарядившиеся девушки и молодые ловцы Салныни. Глаза их ярко блестели, лица лоснились от пота.

Таля уселась в сторонке около сваленных грудой пальто

и, с независимым видом щелкая подсолнухи, приглядывалась к новым для нее лицам. Никто пока ее не приглашал, но она была уверена, что со временем у нее не будет отбоя от кавалеров — в своей деревне она славилась как лучшая плясунья.

Дверь отворилась, пропуская розовеющие лучи закатного солнца. Вошел высокий парень с зеленоватыми глазами, в пыжиковой шапке и свитере. Он огляделся и вдруг подошел к Тале, в упор спросил:

— Почему не танцуете?

Таля смутилась на одну только секунду и тут же бойко ответила, что «не тот уже возраст», чтобы танцевать. Зеленоглазый рассмеялся и осведомился, сколько же ей лет.

— Угадайте!.. Хотите семечек?

Спасибо, семечки он любит. Он думает — ей лет девятнадцать, не больше.

— Не угадали!

— Восемнадцать!

— Да...

Они оба засмеялись, и он пригласил ее танцевать.

— Я не умею по-здешнему.

Ничего — он научит.

Таля решила, что приличия соблюдены и дальше отнекиваться глупо. Танцевать ей хотелось ужасно! Она кивнула, спрятала подсолнухи в карман и подала кавалеру руку.

— Как вас зовут? — спросил он в то время, как ноги их ловко отчеканивали сложные фигуры падеспани.

— Таля Маймина.

— Маймина? Значит, вы дочь капитана Маймина?

— Племянница. А вы его знаете?

— Мы все тут друг друга знаем... Он плавает на моем боте.

— Вы, значит, бригадир?

— Бригадир. Павел Лагун... А вы где работаете?

— Завтра начну. На сетевязке.

Несколько часов пролетели как несколько секунд. Таля танцевала то с одним, то с другим ловцом, но всего чаще с Лагуном. Из клуба вышли вместе. Закат отгорел, начинался восход. Небо над морем было зеленым, а там, где за грядой облаков пряталось солнце, — раскаленно-алым. Толпы белых птиц — мойвинок и чаек — ходили по фиолетовому песку. Скалы наливались пурпуром, точно набухали кровью.

В ту белую ночь они долго гуляли. И еще много белых ночей провели вместе Таля Маймина и Павел Лагун. Потом Лагун уехал на сельдяной лов. Таля стала внимательной читательницей местной газеты — ей хотелось знать, что делается в

фиорде Извилистом, как там проходит жизнь. И она никак не ожидала, что вскоре имя Лагуна появится на газетных страницах и долгое время не будет сходить с них. Самым неожиданным событием в ее жизни было награждение Павла Лагуна орденом.

И вот теперь, в день его возвращения, Тале было тяжело, так тяжело, так горько, что она даже не в силах была заплакать. Расставшись с Лагуном, она медленно шла по главной улице Салнина, не понимая, что случилось с Павлом, почему он был так холоден, так неприветлив с нею...

Дойдя до конца улицы, Таля вошла в низенькую хибарку Маймина — жалкое человечье логово с крошечными окнами. На полу лежали половики из разноцветных лоскутков. По стенам висели сети, пучки поплавков, между которыми яркими пятнами выделялись репродукция «Демона» Врубеля и портрет Ворошилова в белом морском кителе. Красный угол занимали темные иконы. На пузатом комоде красовались выцветшие фотографии и пятнистая фаянсовая собака. За пологом скрывалась широкая кровать с перинами, на которой спал сам Маймин с женою. Рядом с плитой, заставленной чугунками, сковородами, чайниками, стояла железная койка Тали. Десятилетний Санька Маймин спал обычно на полу, на тюфяке, но сейчас он был болен и лежал на кровати родителей, бледный, тихий.

С приездом Тали домашнее хозяйство Майминых наладилось, и все же внутреннее убранство их хибарки производило гнетущее впечатление — особенно потому, что свет едва проникал в крошечные оконца.

Елизавета Маймина, маленькая женщина с густыми каштановыми волосами и исплаканным бледным лицом, худая, вся какая-то узловатая, как северные ползучие деревца, в полинявшем голубоватом платье, сидела, покашливая, у кровати, отвивая форшни невероятно запутанного яруса. Большой, рыжий, как хозяин, одноглазый кот лежал, громко мурлыча, на острых ее коленях. Худенькая рука Саньки почесывала его за ухом.

— Мужа не видела? — спросила Елизавета.

— Не видела...

Таля подошла к Саньке, погладила его рыжую головку, а потом повалилась ничком на койку. Зарывшись головой в подушку, она зажмурилась, стараясь не дышать, не думать. Но отогнать навязчивые мысли она не могла. Снова и снова возникал один и тот же вопрос: что случилось? Почему Паша так переменился, стал не похож на веселого доброго Пашу, от которого иной раз немножко пахло вином, но который всегда

был ласков?.. Или полюбил другую? Или, став героем, решил, что Таля не пара ему? Наверно, так — что она ему теперь? Он, верно, поедет в центр, начнет учиться, повстречает совсем других людей, — красивых, как те артистки, что выступали в Салныни. Неужели все поломано?..

— Тяжкая наша жизнь, — полушепотом вдруг проговорила Елизавета Маймина, заставив Талю вздрогнуть. — Тяжкая, убитая жизнь! Вернулся муж с лова, поздоровкался и пошел с дружками. А ты сиди жди его, жди, как полгода ждала, глаз не смыкаючи, за него болея душой. Ребенок хворый, сама хворая... Говорят, не зарабатывали раньше столько. Ну, а мне-то что?.. Таля, ты спишь, что ли?

— Не сплю...

— Что ж, нездоровится тебе?

— Нездоровится, — тихо ответила Таля, чувствуя, как по щеке поползла слеза.

— А я, молодая-то, какая здоровая была! А теперь вся сникла, всю съела жизнь и болезнь проклятая... Тяжелый здесь воздух для меня, каменный воздух, жесткий.

— Вам уехать надо, — сказала Таля. — Врач сказал вам: ехать надо, где потеплее.

— А муж? Уеду, а он с кем-нибудь спутается, совсем сопьется... Тогда мне помирать только останется, — больше ничего. Нет, не уеду я, доживу свое здесь. Двадцать восемь лет здесь с мужем прожила, последние годы проживу... Мальчика выращу, а там все одно...

— Вы любите его, тетя?

— Кого, Саньку?

— Нет, Егора Петровича.

— А как же, Таленька, не любить? Он для меня все тот же молоденький ловец, каким повстречался со мною в Сороке... И для него, когда не пьян, я все та же красивая девка. За старое он и теперь меня жалеет.

В сенях послышался грохот, и в комнату ввалился, согнувшись в три погибели, хватаясь за косяки, пьяный капитан Маймин.

— Лизаветушка, золотце, вот он я!.. Ты уж извини — маленько согрешил.. Согрешил, говорю, маленько я, ты, Лизаветушка, извини дурака... Спит малютка наш? Ну, спи, спи, сын, поправляйся... Позволь, Лизаветушка, поцелую тебя, позволь ради Христа... Буду знать — простила дурака...

— Уйди, черт пьяный! — Елизавета оттолкнула от себя мужа. — И где только стыд у тебя, лупоглазый тюлень? Напился, насосался, нет того, чтобы о семье задуматься...

— Зачем, Лизок, говорить так? Зачем обижаешь меня? Нехорошо это — обижать мужа, нехорошо...

Таля, лежа с плотно закрытыми мокрыми глазами, слушала эти уже привычные для нее пререкания. И думала сейчас не о себе и Павле, а о том, как же не умеют люди строить свою жизнь. Дядя ее был добрым, мягким человеком. Редко случалось, чтобы он поднял руку на жену или сына, а если и случалось, то горько каялся потом. Но мягкость его характера на берегу оборачивалась слабостью: большие свои заработки он пропивал, оставляя жену и сына без копейки денег. Как капитан, Маймин получал двойной пай и выгонял в сезон до тридцати тысяч. Но выпив, он не знал счета деньгам. В Мурманске давал «на чай» по пяти червонцев, сдачи не брал никогда, любого «бича» и проходимца щедро угощал. В Салныни он покупал бочонки пива и несчетное количество бутылок водки. Когда он был в компании, ему казалось, что жизнь прекрасна, что все улыбается ему. Вернувшись домой и протрезвившись, он терзался, раскаивался, клялся больше не пить. Но стоило ему попасть в компанию собутыльников, — все начиналось сызнова.

Слушая перебранку мужа с женой, Таля вдруг подумала о том, что придет и ей черед быть чьей-то женой, не Лагуна, нет, — какого-нибудь другого ловца... И неужели таким же адом будет ее жизнь?

«Почему я не мужчина?» — подумала она. Но тотчас пришла другая мысль: «Разве я не могу выполнять мужскую работу — стать даже ловцом?»

Пусть когда-нибудь и ее наградят. И Лагун узнает о том и будет так же гордиться ею, как она гордится им. И ему так же горько станет, что он ей не нужен, как она не нужна ему теперь...

Несколько минут она еще оставалась на койке, вертясь с боку на бок, не слыша уже того, что говорили Маймины. Потом вскочила и, накинув платок на яркие свои волосы, выбежала на улицу...

8

Колхозная баня жарко натоплена, так жарко, что кажется — еще немного, и воздух в маленьком закоптелом зданьице станет красным, раскаленным.

В полумраке, разбавленном тусклым светом, проникающим в окошко размером в две ладони, движутся, точно призраки,

обнаженные тела. Одни покрытые мыльной пеной, другие ярко-розовые, пахнущие березовым веником.

К тому моменту, как в баню вошел Лагун, в ней оставалось всего пять человек. На корточках, спиной к двери, намыливая волосы, сидел Грустилин. Скамью занял, расслабив свое огромное мускулистое тело, Миша Бугаев. У бочонка, поливая из ковшей друг друга, стояли Персонов и ловец с бота «Командарм» одессит Жорка Красавин. На верхней полке, там, где жара, казалось, должна была убить наповал все живое, лежал старый ловец Гаврила Вдовушин, лениво похлестывая свое жилистое тело веником.

— Эх, молодежь, много вы знаете, — ораторствовал он. — Барышни вы — не ловцы. Советская власть вам что сделала, а? Праздник сплошной она вам сделала. Бота какие вам дадены? Красавцы, звери! Это только подумать — семьдесят пять лошадиных сил! Да каких! Не лошади — битюги. Пошли вы в море, — машина все за вас делает. А бот — знай по воде скачет, что ванька-встанька. А попробовали бы вы, как Гаврюшка Вдовушин, — тридцать пять верст туда, да тридцать пять верст назад на руках пройти, да ярус тянуть, да самому, вернувшись, отвинтить его, да за копейки всю рыбу Епимаху Могучему свозить...

Ощутив дуновение прохладного воздуха, точно вздох пронесшегося по бане в тот момент, когда вошел Лагун, Вдовушин повернул в его сторону голову и, растянув беззубую пасть чуть не до ушей в веселой улыбке, помахал ему веником.

— Почтение героям! Пашеньку поздравляем! Ну вот, наградили его, — обратился он к остальным. — А нас, спрашиваю, награждали? А? Кукишем нас награждали, верно я говорю? Не жизнь была — мука. Честное слово вам, ребята!.. Скажем, в деревне богатый хозяин, к примеру, ты, Миша. А я, скажем, бедняк. Я к тебе, говорю: «Михаил Сергеевич, сделай божью милость, дай работенку». Ладно, ты добрый, ты работенку дашь. Наберешь человек шесть таких же, как я, горемык. Восемь частей прибыли с промысла тебе будет, а четыре разделишь между нами. Кормщику побольше дашь, ловцам поменьше. Продукты — пшенка да черный хлеб. Рыбу сами наловим. Чай, сахар — за наш счет... Ну, посуди, — будут у нас деньги ай нет?

Он говорил, как всегда, напористо, сам себя перебивая вопросами.

— Хорошо, — продолжал Вдовушин. — Идем из своей деревни до Колы пеши. А это трое суток идти. Тащим сети, провиант, а бывает, и зуйков на санях. Кола тогда замерзала, так

мы шняку тянем по льду до самого заливу! А там — тридцать верст с лишком греби, выматывай снасть, опять греби столько же. Легко это, да? Как, по-вашему? Рыбу тогда никто не принимал, как, скажем, теперь, а шкерили ее сами, сами солили. А теперь? Теперь кошелек тебе подносят. На боте — раз, раз, потом — рррррр! Фью! Готово. Двадцать, тридцать тонн рыбешки у тебя. Что ловцам делать? За ботом капитан доглядывает, за мотором моторист, кошелек два человека выметывают, обсушают его лебедкой. Много им дела остается? Погрузить невод или тюки, слить рыбу, сгрузить тюки, почистить палубу. Великие князья вы, ей-богу, великие князья! Принцы вы, а не ловцы!..

— Скажите, пожалуйста, Гаврила Гаврилыч, чего вы нас агитируете? — спросил Персонов, садясь, чтобы отдышаться, на пол. — Мы тут, слава богу, вроде все комсомольцы, народ сознательный...

Вдовушин яростно хлестнул себя веником по животу:

— Я не агитирую, а говорю! Ну какие вы сознательные, когда ваше добро пропадает, а вы — ни-ни. Пальчиком и то не шевельнете...

— То есть как это добро пропадает? Какое добро? — поднял голову Грустилин.

— А так! Склад-то новый, по ту сторону Салнынки, видели? Не видели? То-то и оно-то, что за своим добром не смотрите!.. А Гаврюша Вдовушин, хоть и беспартейный считается, а пошел да посмотрел. А там щели в шесть пальцев, снегу понасыпало, кошельки сгноятся под ним. Кто склад принимал? Чичибабин? А он что — слепой? А невода? А посуда? По-хозяйски за всем этим смо́трите или нет?

Лагун, растираясь мочалкой с таким ожесточением, что тело его из молочно-белого, резко контрастирующего со смуглым лицом и шеей, стало свекольно-красным, молча слушал разглагольствования Вдовушина.

— Дядя Гаврила, после бани пойдемте склад посмотрим, — сказал он.

— Думаешь, вру? Пойдем, пойдем, герой, сам увидишь! Вот попарюсь только — и пошли. Миша, пару подбавь!

— Ой, не надо пару! — взмолился Персонов.

Бугаев, однако, поднялся, взял ведро воды и, медленно размахнувшись, выплеснул его в печку. Послышалось короткое рычание, и воздух стал таким горячим, что у ловцов зазвенело в ушах.

С проклятиями окуная головы в ведро с холодной водой, они выскакивали в предбанник и там в изнеможении опускались на

скамьи. В бане остался только Гаврила Вдовушин. Слышно было, как он хлещет себя веником и пофыркивает.

Когда он вышел и оделся в чистую синюю с белыми крапинками рубашку, армейские зеленые галифе и серые валенки, водрузил на голову треух, а на плечи накинул тулуп, уже одевшийся и поджидавший его Лагун повторил свою просьбу:

— Пойдем склад смотреть!

— Пошли, Пашенька. Увидишь — не вру. Гаврюша никогда не врет! — закуривая трубочку, отвечал Вдовушин.

Через несколько минут оставшиеся в бане услышали его хриплый голос, доносившийся с ближайшего причала:

— Эй, там, на катерке! Давай сюда! Сюда давай, на ту сторону надо. Спешно, туда тебя со всей родней!

Хотя Гаврила Вдовушин был мастер сгустить краски, и иной раз в передаче его любой пустяк разрастался до крупного события, но в данном случае его слова вполне соответствовали истине: новый сарай был построен безобразно, весь так и светился многочисленными щелями. Осмотрев эту примечательную постройку, Лагун в сопровождении Вдовушина направился в правление. На лестнице он столкнулся с Талей. Закусив губы, не глядя на него, девушка сбегала вниз.

— Здравствуй, Таля! — Лагун преградил ей путь и даже улыбнулся, хотя быть веселым у него не было никакой причины.

Таля ничего ему не ответила и, отстранив его, выбежала в дверь. Лагуну бросилось в глаза, что она побледнела, осунулась. Ему стало не по себе. Но он тут же подумал, что ему предстоят дела более важные, и вошел в правление колхоза.

Чичибабин, как всегда, сидел на своем месте под телефоном, но обычно веселое и самодовольное лицо его было насупленным.

— Здорово! — пробурчал он, протягивая Лагуну руку.

— Здравствуй! Хотелось бы поговорить с тобой, Степан Степанович, — сказал Лагун.

— Мы хотим поговорить, — подтвердил Вдовушин, стоявший позади Лагуна.

— Давай покалякаем, Паша. Ты садись. Что у тебя за дело ко мне?

— Видишь ли... — Лагун сел на стул и принудил себя посмотреть председателю колхоза прямо в глаза. — Ты знаешь, что в Извилистом приключилась беда, — прорвался невод-гигант...

— Ну?

— Если бы там к делу относились, как надо, то...

— То рыбу не упустили бы. Дальше?

— Так вот, я все хожу по становищу и думаю... Думаю, что

беспорядка у нас в двадцать раз больше, чем было там, в Извилистом...

— Одно и есть у нас, что беспорядок, — проговорил Вдовушин. Он уселся рядом с Лагуном и, достав из кармана трубочку, большим корявым пальцем втискивал в нее табак.

— Что ж, верно, Паша... Есть, есть у нас беспорядки. Да где их нет?

Чичибабин нервно забарабанил пальцами по столу.

— А не слишком ли много их у нас? — спросил Лагун. — Не слишком ли много бесхозяйственности...

— Невода не бережем, — сказал Вдовушин, раскуривая трубку, — строительство нового поселка затянули...

— Общежития грязные, — продолжал Лагун. — Я зашел вчера к своим ловцам, смотрю, — несколько человек на полу спят, как звери. А койки сколотить не трудно, кажется...

— Распоряжусь, — хмурясь, сказал Чичибабин. — Это в каком общежитии?

— В номере два, — отчеканил Вдовушин. — Только ведь и в других не лучше...

— В общежития нужно уборщиц поставить, — говорил Лагун, — не могут же сами ловцы полы мыть... Да и помещение давно пора хотя бы отремонтировать, — оно прогнило, не приспособлено для жилья... Затем — кооперация. Овощей никогда нет, нет и фруктов.

— Цингой нас извести хотят! — вставил свое слово Вдовушин.

— Ширпотреба почти нет. Продавец работает в грязном помещении, в грязном фартуке.

— Да что фартук! У него совесть и того грязнее! — вновь вмешался Вдовушин.

— Обвешивает, с рыбачками разговаривает грубо. Или столовка! Неужели мы такие бедняки? Даже клеенок нет, не то что скатертей... Не знаю, дошло ли до тебя, Степан Степанович, но ведь было уже несколько случаев обмена рыбы на вино. Скупщики крутятся в губе, и все знают — зачем крутятся... Начались потери порядков — уже несколько сетей и ярусов оставлены в море. Склад для неводов — это не склад, там ветер гуляет как в поле.

— Как в клетке для канарея, — поправил на свой лад Вдовушин.

— И наконец: никогда мы не собираемся на производственные совещания, ни даже на общеколхозные собрания. Работа красного уголка никуда не годится — там и десять человек не поместятся...

Лагуну нелегко было говорить все это. Он понимал, что действовать нужно как-то иначе: не так уж умно прийти и уныло жаловаться председателю колхоза... на него же самого! Но ему хотелось выяснить: согласен с ним сам Чичибабин? Пойдет ли он на то, чтобы как-то выправить все, что било в глаза, что, по мнению Лагуна, позорило «Звезду Севера»? По выражению хмурого лица Чичибабина Лагун видел, что говорит впустую. Вначале предколхоза слушал внимательно. На губах его временами появлялась снисходительно-насмешливая улыбка, однако Лагуна он не прерывал. Но вот улыбка исчезла. Лицо Чичибабина медленно побурело. Внезапно он стукнул ладонью по столу.

— Хватит! Вы мне голову не морочьте!.. Разорваться прикажешь мне, что ли? Бросьте, товарищи дорогие! Ругать легче легкого — это всем давно известно. Делать дело труднее. Бесхозяйственность! Смешно слушать. Вы хотите, чтобы новый склад без щелей был? А вы о сухом лесе позаботились? Не беспокойтесь, — мы склад проконопатим, не слепые. Ты посмотри лучше на другие колхозы, — что они, лучше нашего с орудиями обращаются, что ли?..

— У финнов-колхозников...

— У финнов! Это из другой оперы... Наш рыбак темный, его еще учить двадцать лет нужно. И будем учить, будем, не волнуйся! Нет таких крепостей... Ваши придирки насчет столовой меня удивляют. Дело новое, а вы вместо того, чтобы помочь, являетесь с придирками: того нет, сего нет. И скатерти будут, и радио, и цветы — настоящий ресторан создадим! Но не из песочка же его, дорогие товарищи, строить, и не в одну минуту! — Он передохнул, но, видя, что Лагун намеревается возражать, повелительно поднял руку: — Погоди! Вы приходите и обвиняете меня чуть ли не в саботаже. Я не обидчивая барышня, но я требую, чтобы все было по справедливости... Относительно заседаний да собраний ты сам знаешь, — наш народ палками не загонишь...

— Очень просто! — перебил его Вдовушин, скрываясь в облаке табачного дыма. — Ты на собрании часа три говоришь, а никто — не пикни. Большой интерес собираться! Ты умей собрание провести интересно...

— Не тебе меня учить! Много на себя берешь, Гаврил Гаврилыч... Да, повторяю — не загнать палкой ловцов, и нечего на это закрывать глаза. Кооператив? Что я, продавец, что ли? И не могу я, точно гувернер какой, за каждым приглядывать!.. Я считаю, что за этот год нами сделано не мало, — да, да! — вам это не хуже моего известно... Поэтому твои уколы...

— Какие уголы?

— Твои уколы и нападки отказываюсь рассматривать иначе, нежели личные... Я тебе одно скажу: не переоценивай своих сил, хотя ты и орденоносец... Много на себя начал брать, вот что!

Чичибабин махнул рукой и уткнулся в бумаги, показывая, что разговор продолжать не желает.

Несколько секунд Лагун сидел молча. Потом встал, медленно вышел. Вдовушин, прежде чем последовать за ним, задержался у дверей и, глядя на Чичибабина, с горькой иронией произнес:

— Хорош!..

— Катись ты к черту, трепло, вот что! Вечно мутишь, вечно интригуешь, вечно... — Чичибабин побледнел от бешенства.

Вдовушин хлопнул дверью...

9

...Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной...

В углу, под образами, — громкоговоритель. Чистенькая комната загромождена мебелью: комод, два шкафа, большой обеденный стол, шеренга венских стульев вдоль стен. На окнах — кружевные занавески, на широчайшей кровати с горой подушек — кружевное покрывало.

За столом сидели Михаил Бугаев, бухгалтер Захар Кульков и его жена.

— Не хочу больше. Н-не хочу, понимаешь? — говорил Бугаев, расстегивая ворот рубахи.

— Еще стаканчик! — улыбаясь, просил приятным баском Кульков. — У меня, милый человек, пей, коли ты мне гость. Пей всласть! — Он подлил коньяку в недопитый стакан Бугаева. — Вот радио! — Он кивнул в сторону громкоговорителя. — Оно тебе заливается, как кенарь, — ни кормить его, ни поить не надобно. А человек — не радио. Его, человека, побаловать нужно!..

Бугаев, лицо которого красно и потно, медленно, с гримасой опустошает свой стакан.

— У меня как? — продолжает Кульков. — У меня — пей, милый гость, пей всласть! Я тебя угощаю, а там, может, и ты меня угостишь... Рыбкой хотя бы... Что тебе стоит?

— Сам что не пьешь?

— Пью я, Миша, чего это ты? Да-да... И по мне, тот чело-

век, который не заложит иной разок, — тот вовсе даже и не человек. Верно я говорю, Прасковья Иннокентьевна? — обратился гостеприимный хозяин к огромной жене своей, неподвижно сидевшей за столом, подперев голову и выпрямив спину. — Коли человека спирт с ног сбивает, — значит, он не мужик, а так... Пей, Миша, пей. Рыбку заглотни и пей.

— Нет, ты пойми, — говорил Бугаев, ставя пустой стакан на стол. — Пашку наградили... За дело его наградили. А меня — нет. И правильно. Так Мишке Бугаеву и надо! А за что ему так надо, Мишке? За то, что пьет он, за то, что он, Мишка Бугаев, мозг пропил!

— Ну, это уж ты напрасно. Это я не согласен, Миша.

— Не напрасно, а дело я говорю. Тряпка я, заплакать могу от злости на себя... Что я, хуже Пашки? Не мог стать героем? Не хуже я его. У нас каждый может героем стать — только работай. Но Мишка Бугаев ум пропил и героем не стал. И не стать ему! А Лагун, корешок мой, — он стал. Герой он, и я это признаю и не возражаю.

— Ну чего там — герой! Эка важность! Кокардочку на грудь красивенькую... — Кульков опять наполнил стакан Бугаева коричнево-золотистой жидкостью. Сам он ничего не пил. — Почет — это да, не спорю. Но что с него, с этого почету?

— Ерунду говоришь, Кульков, первой пробы ерунду. Как это — эка важность? Я бы знаешь что за это отдал? Год жизни отдал бы. Пять лет отдал бы! — Бугаев вздохнул, покачал головой. — Было нас три товарища: Паша, Костька да я. И самый я оказался никудышный...

— Как можно, Миша, что ты говоришь? Ты же бригадир, заметный человек!.. Слышишь, Прасковья Иннокентьевна, что он говорит? Ну скажи ты ему, что нельзя так говорить.

— Нельзя так говорить, Михаил Семенович, — басом, не уступающим мужнину, проговорила супруга Кулькова. Кульков пододвинул гостю стакан с коньяком.

— Не хочу я больше, Захар Тимофеевич! — Бугаев поднялся, раскачиваясь, как мачта во время бури.

— Обижаешь меня, Миша, ай, обижаешь. Еще полстакана!

— Нет, не хочу. Спасибо тебе, конечно, за ласку твою, за коньяк, но сегодня больше пить не стану.

— Может, чайку распорядиться?

— Нет, не хочу ничего! Прощайте, хозяйка, я, конечно, немножко пьян, вы извините меня... Спасибо на добром слове...

Тут он вдруг снова опустился на стул и задумался. Чета Кульковых выжидающе смотрела на него.

— Герой! — Бугаев горько усмехнулся. — А я не мог быть

героем? Мог!.. Говорят, я Пашку Лагуна ударил, — вроде как завидую. Вранье! Я ударить не мог, я Пашку люблю, душой люблю!.. А тебе, Кульков, ничего от меня не будет — ни угощения, ни рыбы... Зря стараешься...

Тяжело поднявшись, Бугаев, наконец, покинул квартирку Кульковых. Свежий воздух немного отрезвил его. Уже почти не качаясь, он медленно побрел к общежитию. Миновал правление колхоза с его живописной вывеской, кооператив, мастерскую и вошел в двери старого двухэтажного дома.

Споткнувшись несколько раз на темной лестнице, жалобно скрипевшей под его обутыми в пудовые сапожища ногами, Миша Бугаев поднялся на второй этаж и ввалился в комнату, потолок которой почти касался его головы.

В этой комнате с грязными стеклами окон, с железной печкой, с рядами коек, покрытых серыми одеялами, с тумбочками из выкрашенной в мутно-зеленую краску фанеры и двумя-тремя табуретами, жили несемейные ловцы. Единственным украшением этой комнаты, способной навести уныние на самого нетребовательного человека, был большой, неведомо как сюда попавший плакат Интуриста, яркий как сон. На плакате — Южный берег Крыма, белые дворцы, окруженные кипарисами и магнолиями, два автомобиля, переполненных нарядными людьми, а в густой синеве моря — белые паруса яхт.

Возле топившейся печки Персонов стирал в тазу белье. Часть белья он уже развесил на спинках коек. В углу, зарывшись головой в подушку, спал Жорка Красавин. Больше в общежитии никого не было.

Бугаев, провожаемый внимательным взглядом Персонова, на румяной щеке которого повис клок мыльной пены, прошел к своей койке и, не раздеваясь, не сняв даже сапоги, повалился на нее.

Но уснуть ему не удалось. Он ворочался с боку на бок, стонал и наконец открыл глаза. Болела голова, во рту было сухо.

— Ваня! — позвал он.

— Чего?

— Я опять напился...

— Вижу, Миша.

— Сволочь Кульков угощал...

— А ты не пей. Выпил раз, выпил два. А потом — будя.

— Не могу.

Персонов с новым рвением принялся полоскать белье в тазу. Бугаев сел на койке и некоторое время молча смотрел на него. Потом сказал:

— Ваня, запусти Чайковского!
— Жорка спит...
— Ничего, запусти!

Персонов достал из-под койки Бугаева патефон, поставил пластинку. Бугаев, уронив голову на руки, слушал негромкую, хватающую за душу музыку.

— Запусти еще, — сказал он, когда пластинка кончилась.

Персонов, так же, как он, упоенно внимавший музыке, не заставил повторять просьбы. Покосившись на Красавина, он снова завел патефон. Пластинку, по-видимому, гоняли много раз, — она хрипела, сипела. Но прекрасная, грустная мелодия прорывалась сквозь этот хрип, заставляла забыть о нем...

— Ваня, ты мне друг или нет?
— Друг, конечно.
— Знаю, что друг!

Молчание. Персонов еще раз запускает пластинку.

— Думаешь, я так просто пью? Думаешь, нравится мне это?
— Кто его знает... Сам я не люблю пить...
— Ваня, посмотри, Жорка не проснулся?
— Спит...
— Ваня, я хочу тебе одно дело рассказать. Садись... Я никому не рассказывал — секрет это мой. Тебе расскажу.

Персонов сел на табурете. Оба молча слушали музыку, пока пластинка не кончилась.

— Почему, думаешь, я запил, а? — негромко заговорил Бугаев. — Знаешь, кто виноват в позоре Мишки Бугаева? Я тебе скажу, кто виноват, потому что ты, Ваня, хороший парень, самый верный на всю бригаду... Так?

— Не знаю, Миш...

— А я знаю! Слушай, Костька Грустилин — мой враг, погибель моя. Да, Ваня, так оно и есть, ты глаза не выпучивай, я тебе зря не скажу. Соню кто взял за себя, Соню Витель? То-то и оно... Я Соню полюбил, Ваня. Мишка Бугаев ее всей своей силой полюбил, а Костька — он ее в загс свел. — Поникнув головой, Бугаев умолк. Персонов с жалостью, любопытством и недоверием смотрел на бригадира.

— Гляди, Ваня, слеза у меня прокатилась из глазу. Горючая слеза бежит из глазу бригадира Бугаева. Ты не думай — пьяная слеза. Это сердечная слеза. Мишка Бугаев с семи лет плакать разучился... Потому-то и погиб я, что Костька перебил ее у меня. А было бы не так, — может, вместе с Пашкой и я героем был бы. Эх, не понять никому души моей, Ваня! — Он стукнул себя кулаком в грудь и опять замолчал.

— Я понимаю, — тихо сказал Персонов. — Соня девчонка — во!

— Разве она девчонка? — прошептал Бугаев. — Она цветок! Знаешь, цветок одуванчик? Желтый, пушистый. Вот и Соня... Я б тот цветок холил бы... Потому что корни его — вот где, в сердце моем. Понимаешь? Я ведь мытарился, мытарился и вдруг нашел цветок... А Костька — взял и сорвал. Мне через то радости больше нет. Потому пью. Умел бы стихи писать, как писатель, писал бы. А не умею — так пью...

Он скрипнул зубами, пластом лег на койку и затих.

Персонов еще раз завел патефон. Но Бугаев молчал. Тогда Персонов остановил пластинку, закрыл музыкальный ящичек, бережно спрятал его под койку и вернулся к прерванной стирке...

10

— Буди Константина, все готово...

— Да, как же, добудишься его! Дайте-ка воды...

— Он сызмальства спит так-то! У нас пожар был, — тогда мы начисто погорели, — так он спал себе, как ни в чем не бывало. Хорошо, я вспомнила — кричу отцу: «Коська где?» Отец побежал в избу и вынес его, а он и то спит. Крыша через миг грохнула вниз — только искры столбом!..

Краснощекая пожилая женщина с добрым морщинистым лицом, с большими карими глазами, с седеющими, стянутыми на затылке в узел волосами, зачерпнула полный ковш воды из цинкового ведра и протянула его Соне.

В комнате, залитой лучами солнца, все сияло. На столе у окна стоял высокий никелированный самовар, с тонким пением выпускавший пар. Стеклянная ваза, полная конфет и печенья, сверкала рядом, точно хрустальная. На одной тарелке лежала груда пирожков, на другой — розовые, прозрачные ломти семги.

Около высокой кровати стоял велосипед, тоже источающий ослепительный блеск. На него то и дело натыкалась пожилая женщина, каждый раз при этом тихо приговаривая: «Купили на мою голову черта рогатого...» На жарко горевшей плите булькали две кастрюли и шипела сковородка, на которой жарилась палтусина.

Светлым золотом сияла в лучах солнца и коротко подстриженная головка Сони. Сдерживая смех, она направилась с

ковшом в соседнюю комнату. И столько было в ней в эту минуту плутовато-мальчишеского и вместе с тем прелестно-девичьего, что нельзя было не улыбнуться, глядя на нее.

Осторожно приоткрыла она дверь и на цыпочках вошла в соседнюю комнату. Эта комната так же была залита солнцем, как и первая. Настольное зеркало посылало на стену, оклеенную светлыми обоями, золотые зайчики, двуспальная кровать казалась раскаленной добела — так светились все ее никелированные шишечки и прутья.

Над кроватью висело двуствольное ружье, а на стуле лежал роскошный баян, поблескивающий перламутровыми клавишами, лакированными боками и медной отделкой.

На кровати разметался Костя Грустилин. В ногах у него лежало скомканное красное одеяло. Соня тихонько рассмеялась и плеснула воду в лицо спящего мужа. Он подскочил, точно его ударило током, испуганно заморгал.

— А?.. В чем дело?.. Что? — бормотал он, оглядываясь по сторонам.

— Вставать пора-а! — смеясь, отвечала Соня.

— Свинство, Сонька, честное слово, свинство!.. Обливать человека водой, — куда это годится?

Однако сон слетел с него и, секунду спустя, он попытался поймать увертливую, как рыба, молодую жену. Поднялся хохот, визг.

В дверь постучали.

— Все на столе! Простынет, разогревать не буду. Костя, тебе на работу скоро. Слышишь?

Наконец молодые люди угомонились. Грустилин натянул брюки и вслед за Соней вышел в соседнюю комнату.

— Здоро́во, сестричка! — сказал он, проходя к умывальнику. Пожилая женщина была его старшей сестрой. — Чем угостишь нас нынче?

— Да чего там... Палтусинка вон поджаривается, уха... Сегодня Красавин занес треску свежую...

Грустилин вымылся, докрасна растер шею, мощную грудь, надел рубашку и сел за стол, где его уже поджидала Соня.

Ах, эти северные плотные завтраки у Кости Грустилина! Вы едите жирную тресковую уху, и не успели проглотить последнюю ложку, как вам несут палтуса, нежного, как цыпленок. Съеден палтус — подкладывают семгу. Покончили с семгой — пышные пирожки так и молят о том, чтобы вы их съели. Из самовара в стакан бежит струя кипятку, и золотистый чай подымается, светлея, до самых краев. Хлеб густо намазан сливочным маслом. На столе — банки персикового компота, шо-

коладные конфеты, печенье... Под конец вам даже совестно делается — кажется, что съели вы непомерно много!..

Чичибабин, да и не один он, говорит о Грустилине: «Этот малый умеет жить». Однако, по сути, никакого особенного умения не было — просто Грустилин не пил. Немалые деньги, заработанные им, как и другими колхозниками-ловцами, не уплывали на «пиры», а приумножали жизненные блага, которыми пользовались Костя и Соня. Более приветливого хозяина, чем Грустилин, в Салныни не найти, угощать гостей было его слабостью. Не найти человека, более широко тратившего деньги: приобретение велосипеда следовало за покупкой баяна, который, в свою очередь, был куплен всего днем позже двуспальной кровати. Но потратить на все эти вещи большой ловецкий заработок было невозможно. Много легче было бы пропить его — бессмысленно пропить, как делал это Бугаев, Маймин и другие. Но Костя вина и в рот не брал. Зато он был страшно ревнив.

Соня — сестра моториста Эйнара Вителя. В Салныни она всего девять месяцев. До этого жила у отца, Леонарда Вителя, в Мурманске, где училась в десятилетке. Там же она выдвинулась на комсомольской работе: ее справедливо считали одним из лучших пионерорганизаторов Заполярья. Когда для укрепления комсомольских организаций колхозов объявили мобилизацию, Соня сама попросила послать ее в Салныни, к брату. Здесь она и повстречалась с бригадиром Костей Грустилиным и вскоре вышла за него замуж.

Однако семейное счастье молодых людей никак не могло наладиться. Сперва Костя мучил юную свою супругу подозрениями насчет того, что она чересчур часто поглядывает на Пашку Лагуна, или что она как-то особенно улыбается Мишке Бугаеву, и даже, что заигрывает с Чичибабиным. Потом едва установившаяся семейная жизнь была прервана сельдяной путиной. Три дня Соня погрустила в одиночестве, а потом с еще большей горячностью накинулась на работу. Пока большинство комсомольцев было в отъезде, она обратила свое внимание на детей колхоза «Звезда Севера» и сколотила пионерский отряд.

В Салныни была неполная средняя школа, в которую стекались дети других становищ. Пришлось предоставить для общежития бывший кулацкий дом. С помощью детворы Соня превратила его в лучшее жилище Салныни. Там было чисто, тепло, сухо, светло и как-то весело от множества детских рисунков, украсивших стены. Все это было «подарком» Грустилину. По правде сказать, он принял этот «подарок» довольно

равнодушно: больше всего его беспокоило — не слишком ли часто Соня встречалась в его отсутствие с Давидом Зюсом, который, неизвестно почему, слыл в Салныни за отчаянного донжуана. Но он так был рад увидеть Соню, что тут же отбросил свою подозрительность. Да и как не радоваться ей: комсорг салнынского колхоза Соня Витель, или, вернее, Соня Грустилина, была такой чудесной девушкой! Жизнерадостная, смешливая, она целыми днями напевала, чуточку фальшивя, финские песни...

...Завтрак уже кончали, когда по деревянной лестнице нового колхозного дома, в котором жили Грустилины, загрохотали чьи-то шаги. Костя и Соня повернули головы к двери.

— Можно? — послышался голос.

— Войдите, — разом ответили муж и жена.

Вошла Таля Маймина. Остановившись на пороге, она смущенно пробормотала:

— Я вам помешала...

— Раздевайся и присаживайся, Таля, чего там, — сказал Костя, накладывая на тарелку палтусину.

— Спасибо, — Таля скинула платок, и в солнечных лучах ее рыжие волосы сверкнули как пламя. — Я, Соня, к вам...

Соня наливала гостье чай.

— В чем дело, Таля? — спросила она. — Верно, в комсомол потянуло? Ну что ж, давно этого ждем!

— Нет, совсем другое... Я решила... захотела попробовать стать ловцом...

— Ого! — Грустилин усмехнулся и внимательным взглядом окинул Талю с ног до головы. Затем добавил уже другим, совсем не насмешливым тоном: — А что, почему бы и нет?..

— Я могу много работать... Не боюсь, что не справлюсь... Но Чичибабин не согласен. Не переводит он меня на бот.

— Что он говорит?

— Говорит, не бабье это дело...

— Чепуха! — воскликнул Грустилин. — Какая чепушина! Да на лову уж сколько женщин-ловцов было. Правда, финки. Но чем они сильнее наших? Ничем, верно, Соня?

— Верно, ничем не сильнее. А Чичибабин, он вечно ерундит. Но я с ним буду иметь разговор. Ведь это замечательно, что девушки у нас становятся заправскими ловцами, — такими же полноправными ловцами, как мужчины! А он — палки в колеса вместо того, чтобы приветствовать. Посмотрим!.. Я сейчас же пойду к Чичибабину!..

— Готово! Загорелась! — сестра Кости осуждающе покачала головой. — Чичибабин-то верно говорит. Ну к чему это,

Таленька, нужно? Мало на свете мужиков, что ли? Зачем вы убивать себя в море будете?

— Ничего, Катерина Григорьевна, я не боюсь.

— Вижу, не бойтесь. Да не разумно это!..

— Очень разумно! И очень даже хорошо, если у нас в колхозе будет девушка-ловец. — Соня с одобрением смотрела на Талю, на ее сильные руки, высокую грудь, широкие плечи.

— Ты все-таки, Маймина, хорошенько подумай, — сказал Костя, — лов — дело нелегкое...

— Ну идем, идем, — перебила его Соня, — а то они тебя вправду отговорят!

Соня и Таля долго не могли отыскать Чичибабина. Из конторы их послали на склад, со склада — в кооператив, из кооператива — в факторию. Наконец они встретились с ним около механических мастерских. Он шагал рядом с высоким Раздобреевым и что-то горячо говорил тому.

— Рот фронт, Чичибабин! — Соня вытянулась в струнку, подняла сжатый кулак.

— А, Вителъ! Здорòво... — Чичибабин, догадываясь, чего хочет от него Соня, не только не остановился, но ускорил шаги.

— Постой! Я к тебе...

— Ко мне? Так бы и сказала... Что у тебя?

Соня решила сразу оглушить его «лобовым ударом».

— Веду нового ловца к тебе!

— Какого ловца?

— А вот, Маймину!

Однако прием Сони имел иной эффект, чем она ожидала. Чичибабин внезапно покраснел и, делая рукой такой жест, точно перерубал что-то ладонью, резко ответил:

— Ты эти штучки, Витель, брось! Я Майминой отказал, и ты, пожалуйста, брось, не вмешивайся!

Однако Соня была не из тех, кто легко отступает от принятого решения. Совершенно спокойным тоном она осведомилась о том, что послужило основанием для столь бесповоротного отказа. Чичибабин, у которого, в сущности, особых оснований для отказа не было, еще более раздраженно ответил:

— А на том основании, что труд ловца считаю тяжелым физическим трудом и не женским, а мужским. Да и в чем дело? Откуда у тебя появилось право меня контролировать? Кто его тебе дал?

Переводить разговор на тему о том, имеет ли право комсорг контролировать распоряжения председателя колхоза, было не в интересах Сони. Пропустив вопрос Чичибабина мимо ушей, она продолжала свое:

— Разве на лову не было женщин-ловцов? Разве в Советском Союзе женщины не равноправны с мужчинами во всех областях жизни, включая и труд? Никто не понуждает Маймину — она сама хочет идти в море...

Чичибабин бросил взгляд на Раздобреева, ища его поддержки, но тот молчал.

— Сельдяной лов! — сказал Чичибабин. — Это совсем другое дело... Ну разве в фиорде бывают штормы? А в открытом море, на тресковом... Да в бурю не то что женщина — иной мужчина со страху заревет!

— Ну да, так и есть! — торжествующе вскричала Соня.

— Что так и есть?

— Да то, что я так и думала: ты определенно считаешь женщину человеком второго сорта.

— Постой, Витель...

— Конечно! Мужчина, по-твоему, и смышленее, и ловчее, и сильнее, и смелее. Женщинам нужно заниматься только домашним хозяйством, правда?

— Да подожди, Витель. При чем тут мое отношение к женщине? Ты не желаешь считаться с тем, что Маймина — лучшая ударница на сетевязке...

Соня перешла в решительное наступление:

— Так, значит, лучших ударниц, по-твоему, нужно мариновать?

— Что значит — мариновать? Не ты руководишь колхозом, а я, я и соображаю, куда кого поставить нужно. И раз я сказал...

— Так, значит, дело просто в принципе? Раз ты сказал...

— Ну, знаешь, Витель, с тобой разговаривать невозможно!..

— Слушай, Чичибабин, — Соня положила руку на широкое плечо председателя. — Слушай, Чичибабин. Я как товарища тебя за Маймину прошу. Ведь это же покажет всем и каждому, что наш колхоз стоит на большой высоте. Неужели вопрос придется ставить в другом месте?

Она улыбнулась, но глаза ее, глядевшие прямо в глаза Чичибабина, были такими решительными, что он подумал: «Ни за что не отступит, девчонка! И начнет, пожалуй, мне черт знает что пришивать».

— Слушай-ка, Витель, — ответил он. — Чего ты вечно горячишься? Давай договоримся... Я ведь не из упрямства спорю, а потому, что постарше тебя, лучше знаю жизнь... Вот на что я согласен: пусть Маймина попробует. Мы разок пошлем ее в море. Коли бригадир скажет, что она годится, — ладно, возражать не буду.

— Я только того и прошу!
— Да просишь ты всегда в таком тоне, что хочется с тобой поругаться...
— Мы собой ни разу не ссорились! Ну, пока, Чичибабин. — Соня улыбнулась. — В какую бригаду поставишь Талю?
— К Бугаеву. У него не хватает людей.
— Хм... А может, лучше к Грустилину?
— Послушай, Витель, кто, наконец, председатель? Могу я знать, где нужны люди?
Когда Соня и Таля отошли на достаточное расстояние, чтобы не слышать, Чичибабин несколько смущенно посмотрел на Раздобреева и сказал:
— Какова, а? Ну и девчонка!..

11

Лагун шел в горы. Снег улежался и выдерживал тяжесть человека, — идти было легко, словно под ногами стелилась гладкая дорога. Временами путь Лагуну преграждали скалы, образующие гигантские ступени, тогда он прыгал с одной на другую, как олень.

Глаза его покраснели — так ослепительно сверкал в лучах солнца снег. Воздух был прозрачен. Кое-где, на обнажившихся склонах гор мох приобрел весенние тона — мягкой, зеленовато-бурой шкурой он прикрывал розовый камень.

Только работа в море и такие вот дальние прогулки успокаивали теперь Лагуна, потерявшего за последнее время душевный покой, чувствовавшего себя непривычно растерянным...

Личные его дела казались ему зашедшими в тупик: Таля Маймина отшатнулась от него. И он сам был повинен в этом... А между тем он все отчетливее понимал: никогда еще не была она так нужна ему!.. Нелегко было Лагуну разобраться в своем отношении к ней. Давно, когда они впервые встретились, девушка привлекла его к себе, как не влекла ни одна до той поры. Любил ли он тогда Талю? Он думал, что не любил. Не было в нем тогда огромного, жгучего чувства, называемого любовью. Но он собирался сделать Талю своей женой. Жизнь должна была складываться так: детство, юность, возмужалость, семья, старость. Таля вполне подходила для роли жены и матери... Но когда его наградили орденом, что-то круто повернулось в нем. Он спрашивал себя: «Время ли жениться, обзаводиться гнездом, плодить детей? Не другие ли задачи

стоят перед мной? Нужно так много совершить, а разве это возможно с семьей?» Встретив снова Талю, он почувствовал, что должен изменить прежние с ней отношения, что, поступая так, он совершает героический шаг, — один из тех шагов, которые должны направить его на трудный, но победоносный путь коммуниста — строителя и борца за социализм. Этим и объяснялась его холодность, так потрясшая Талю. И вот именно теперь он ощущал необоримую потребность в Тале, в верном друге. Она, яркоглазая, ярковолосая Таля, могла бы быть ему опорой, товарищем, союзником. Но он сам все испортил — Таля теперь чуждалась, сторонилась его. Он остался в полном одиночестве. А в нем сейчас происходят такие большие, такие мучительные сдвиги, — казалось, все в нем рушится, меняется — и человеку в такие периоды жизни тяжко быть одному...

Какая-то пламенная неудовлетворенность сокрушала все его прежние представления. Ни сам он, ни колхоз, ни люди колхоза не казались ему достойными своего положения.

«Таким ли должен быть комсомолец, кандидат партии, гражданин СССР, каким я являюсь?» — задавал он себе вопрос и отвечал: «Нет», хотя и не знал, не мог знать, каким должен быть этот воображаемый им идеал. Знал только, что сам он недостаточно на него походит.

«Такими ли должны быть коммунисты, члены великой ВКП(б)?» — думал он о Чичибабине, Раздобрееве и о других колхозниках-партийцах. И тоже говорил: «Нет!»...

Лагун принадлежал к тем сильным, но односторонним характерам, которые не способны воспринимать жизнь во всем ее многообразии и противоречивости. В недавнем прошлом, когда он, как и остальная молодежь Салныни, гулял, пил, работал, иногда просматривал газеты, он понимал жизнь как однообразную смену часов труда и отдыха. Но когда он получил орден, он вдруг почувствовал, что должен быть примером для других, и взглянул на то, что окружало его, другими глазами. Жизнь стала для него полем битвы — нелегкой битвы с отсталостью, темнотой, с силами, враждебными социализму. И когда он задавал себе вопрос: отвечают ли все те люди, которых он знал, высокому образу большевика, возникшему в его сердце, то ответ был один — не отвечают. То были обыкновенные рядовые люди со своими достоинствами и недостатками. Конечно, в процессе труда и борьбы они растут, перевоспитываются, но как медленно развивается этот процесс! Как мало еще людей, близких к идеалу человеческой личности, который смутно вырисовывался в воображении Лагуна и к которому он страстно хотел приблизиться.

Вот почему за последнее время он обостренно, даже как-то мучительно, стал воспринимать недостатки колхоза. Хорошего он словно бы и не видел. Он видел только дурное и не знал, как с ним бороться.

Лагун думал было найти поддержку у старых своих приятелей — Кости Грустилина и Миши Бугаева. Но первый в ответ на полные беспокойства слова Лагуна сказал: «Знаешь, Пашка, по мне, нужно делать свое дело как можно лучше, а склоку поднимать не согласен. Только запутаешься и больше навредишь, чем поможешь делу». А Бугаев, который пил больше всех? Стоило ли говорить, а тем более советоваться с ним?

Вот тогда-то Лагун и обратился к Чичибабину. Как мы знаем, председатель колхоза неправильно понял его: подумал, что Лагун во всех неполадках винит его одного, Чичибабина. После того как Лагун ушел из правления, он заглянул в соседнюю комнату, где Раздобреев читал газету, и сказал: «Вот! Наградили! Извольте радоваться!.. Теперь во все мешаться будет, разводить демагогию. Черт знает, что такое!..»

Сегодня, бродя в горах, Лагун обдумывал план действий. Перебрав все возможные варианты, он решил первым делом обратиться к Давиду Зюсу и заторопился в Салнынь. Он почти бежал, но все же, подойдя к краю горы, на несколько минут задержался, чтоб окинуть с высоты широкий простор моря и домишки Салныни, рассыпавшиеся у реки. Он старался узнать в маленьких человеческих фигурках знакомых и действительно разглядел Талю Маймину, Соню Грустилину, Раздобреева и Чичибабина, шедших мимо фактории. Потом поспешил вниз...

Редакция салнынской многотиражки «Атакуем рыбу» помещалась в небольшом сарае, разделенном перегородкой на две комнаты. В передней комнате стояла «американка» и наборная касса. В задней, оклеенной несколькими слоями газетной бумаги, висел на стене телефон, а у окна стояли кухонный стол и два табурета. Это был кабинет Давида Зюса.

Когда Лагун вошел, работа в редакции кипела. Дородный толстощекий парень стоял возле «американки», проделывая сложные движения, немного напоминающие работу жонглера в цирке. Ногой он безостановочно нажимал педаль, приводящую в движение маховое колесо, отчего печатный станок рычал и плавно шевелил черными, блестящими от масла сочленениями. Правой рукой парень через равные промежутки времени выхватывал из стопы чистой бумаги лист, левою снимал отпечатанные номера.

Стройная девушка с вьющимися каштановыми волосами, в серой мужской толстовке стояла возле окна и, быстро выхва-

тывая из касс буквы, набнрала какую-то статью. Другая девушка, в такой же толстовке, розовощекая, с веселыми карими глазами, стоя на коленях, разжигала печурку. Давнд Зюс сндел в своем кабннете и с мрачным вндом черкал пером по корректуре.

— Прнвет! — сказал он, увндев Лагуна. — Садись... Вот правлю корректуру н злюсь. Проклятые девчонкн безграмотны, как бараны!.. Стнхотворенне сочинил, а онн перевнрают его. На, прочтн, еслн хочешь...

Лагун взял лнсток н, опустнвшнсь на табурет, стал читать:

Рыбачий бот вернулся с лова,
Нагружен мокрым серебром.
Улов колхозу сдаст и снова
Исчезнет в море голубом.
О, как огромен дивный клад морей!
Как много радости в стране моей!..

В стнхотвореннн говорилось, что труд рыбаков, колхозннков, металлургов, слнваясь воедино, создает могущество Страны Советов. Кончалось это длнnное стнхотворение так:

О партия! Могучей волею твоей
Все больше радости в стране моей!..

Лагун долго молчал. Стихотворение глубоко взволновало его — оно полностью отвечало тому, что сейчас переполняло его душу.

Давнд Зюс спросил несвойственным ему робкнм голосом:

— Ну как — ничего?

Он видел, что Лагун с восхнщеннем смотрнт на него, и был взволнован не меньше того.

— Хорошо! — негромко ответил Лагун. И снова оба замолчалн.

Наконец Давид Зюс, слишком смущенный, чтобы говорить о своем стихотворении, спроснл деланно заннтересованным тоном:

— Ты что же, окончательно бросил пить? Бесповоротно?

— Окончательно, — ответил Лагун.

— Молодец парень!

— Я к тебе по вопросу одному прншел, — сказал Лагун.

— Заметку принес?

Он был хорошнй парень н неплохой газетчик, — Давид Зюс, мечтавший стать поэтом. Но в условнях Салныни ему было нелегко: газета была брошена на его руки. Редактор почти все время пропадал то в Мурманске, то в Архангельске — Чичнбабнн сделал из него «толкача», н вместо работы

в газете он был занят добыванием леса, горючего и других необходимых колхозу вещей.

Давид Зюс знал техническую сторону газетного ремесла. Умел он и писать фельетоны, был внимательным литературным правщиком, хорошо монтировал материал. Неплохо разбирался он и в политической жизни страны. Но организатором был никудышным. За год жизни в Салныни он не сколотил вокруг газеты даже маленького коллектива авторов, и почти вся газета составлялась из корреспонденций, написанных самим Зюсом под различными псевдонимами, да из информаций ТАСС.

— Нет, заметки у меня нету, — отвечал Лагун. — Я поговорить с тобой пришел...

Зюс взял карандаш и придвинул к себе блокнот.

— Подожди, записывать пока нечего. Дело, видишь ли, вот какое. В колхозе у нас... Ты, Давид, приятель мне: написал обо мне такую статью, что меня обожгло, как эти стихи твои... Так вот, понимаешь, у нас черт знает что в колхозе!..

— Да, беспорядков порядочно...

— Я думал, хорошо бы ударить по всем этим беспорядкам. По пьянке, по небрежному отношению к снасти... Словом, я собрал факты, — видишь список. Вот, читай. Из них мы составили бы статью...

Давид Зюс выхватил из рук Лагуна листок бумаги и в мгновение ока пробежал его. Странно: разве он не знал всех этих фактов? Но сейчас, когда о них говорил другой человек, когда он, этот человек, по своей инициативе принес ему «обвинительный акт», все эти давно известные факты выглядели иначе. Они вдруг показались Зюсу чрезвычайно значительными, важными, требующими немедленных действий.

— Здесь есть перспектива! — проговорил он. Затем, вновь пробежав глазами листок, продолжал: — Мы сварганим специальный номер «Внутренняя жизнь «Звезды Севера»! Поплачут у нас Чичибабин, Раздобреев, Кульков и вся их бражка!

Взъероша свои густые темные волосы, он схватил чистый лист бумаги и крупными печатными буквами набросал: «Внутренняя жизнь «Звезды Севера». «Пришло время излечить все болячки...» «Чичибабин забыл дорогу на склад...» «Товарищ Раздобреев, как с подготовкой фактории?..» «Накажите расхитителей...»

— Здорово будет! — бормотал он.

В это время дверь дверь распахнулась, и на пороге показался Гаврила Вдовушин.

— Не понимаю! — закричал он еще с порога. — Все пони-

маю, а это никак!.. Земля круглая? Круглая, говорит наука. А как же мы-то на ней держимся? Значит, не круглая? Но почему тогда можно объехать вокруг нее? Отвечай, Зюс!..

— Погоди ты, — Давид раздраженно отмахнулся.

— Нет, в самом деле? А, Зюс? Все понимаю: молнию, гром, электричество понимаю. А этого никак!..

— А магнит понимаешь? — спросил Зюс.

— Магнит понимаю.

— Ну так пойми: земля — магнитная! Понял? Почему все, что кидаем вверх, летит вниз?

— А куда же лететь? — озадаченно проговорил Вдовушин.

— А потому и летит вниз, что земля — магнит. Притягивает все: камень, пух, воду, человека, все на свете. Понял?

— Погоди... Сейчас пойму! — Гаврила Вдовушин наморщил лоб, пошевелил пальцами, хлопнул в ладоши: — Понял! Магнит! Круглый магнит! — И залился счастливым смехом. Затем спросил: — А вы что тут делаете?

— Посвящать его? — Давид повернулся к Лагуну. — Он мне во всем помогает!..

— Говори!

Давид Зюс объяснил Вдовушину, что они задумали. Тот посмотрел на Лагуна с хитрой, довольной усмешкой, но вдруг помрачнел.

— Эх вы, молодо-зелено! — сказал он. — Не выйдет ничего у вас, кроме скандалу. Не с того конца начали...

— Как это — не с того? — Зюс недовольно поморщился.

— Очень даже просто... Припаяют вам такое, что и не возрадуетесь!.. Я хоть считаюсь беспартейным, но скажу: нельзя так, не годится.

— Почему не годится?

— А потому, что вроде — интрига, заговор. Знаете, что нужно?

— Что?

— Соньку Витель! Грустилинскую женку!

— Что — Соньку Витель?

— Привлечь ее нужно к делу этому! — Гаврила Вдовушин победоносно оглядел молодых людей.

Давид Зюс и Лагун переглянулись. «Верно говорит?» — спросили серые глаза секретаря редакции. «Верно», — ответили зеленоватые бригадира.

— Это ты, пожалуй, правильно, — медленно проговорил Лагун. Ему было немного неловко: как же сам-то он не подумал о комсорге? Потому, что она девушка? Или потому, что жена Костьки? Почему он не подумал о комсомольцах, не

подумал о своих ребятах? Замкнулся, один все решил... А ведь вот где настоящая сила, вот с кем можно всего добиться. Правда, нужно сперва доказать им. Но зато потом — какие возможности раскроются перед ними!.. И на это ему указывает беспартийный чудак, признанный бузотер Вдовушин... Лагун покраснел. А Зюс вскочил и принялся расхаживать по своему кабинету.

— Правильно, черт дери, очень правильно! — повторял он. — Соня Витель!.. Славная и энергичная девчонка... Она и кашу заварит...

— Вот, — сказал Вдовушин. — Ты про науку много знаешь, про стишки знаешь, а про жизнь, оказывается, Гаврюша куда лучше тебя понимает, а? Так?

И он весело подмигнул Лагуну. Лагун ответил ему улыбкой. Сразу стало легче, радостней на душе. Он больше не чувствовал себя одиноким...

12

На причале, залитом оранжевыми лучами низкого солнца, суета. У ящиков с ярусами расположились рыбачки и дети, наживляющие снасть. Ловкими, быстрыми движениями они нанизывают на острые крючки еще не уснувшую мойву, серебристо-фиолетовую, с прозрачными, как крылья стрекозы, плавниками. Ящики с уже наживленной снастью ловцы волокут к ботам. В стороне отвивают мокрые яруса, только что доставленные с моря. Под ногами шныряют большие псы, козы, блеющие овцы. Бригадиры, ругаясь, мечутся по причалу.

— Эй, сахар взяли?!

— Черт дери, опять кто-то снасть спер. Таскают прямо из-под рук, безобразие какое!

— Пропустите, не видите, какое бревно тащим!..

Над водой вьются чайки. На соседнем причале вереница грузчиков, прикрыв головы и спины мешками, грузят на парусник ящики соленой рыбы.

— Эге, Архипыч, как ловится? — Голос Грустилина покрыл общий шум.

— Три тонны! — ответил Архипыч, который, широко расставив ноги и заложив руки за спину, стоял на носу подходившего к причалу бота.

— Эй ты! Не видишь — человек стоит? Ну чего ты меня зацепил, чего зацепил?

— Погоди ты, стой спокойно! — Жорка Красавин, зацепив-

ший крючком ватник Вдовушина, хохотал как сумасшедший. — Да погоди же, дядь Гаврила, хуже запутаешься!

— От водяной одесский, что наделал? А? Дырка! Видал? Ты мне штопать будешь? Ты, спрашиваю?..

С левой стороны причала выстроилась шеренга ёл. Их распущенные для просушки паруса напоминали крылья морских птиц. Боты — салнынские и чужие — подчаливали борт к борту.

— Вот и я! — Таля пробралась между ящиков и бочек и подошла к Мише Бугаеву.

— Сейчас выходим, — сказал тот. — Хлеб купила?

— Вот, в мешке, на ящике.

— Тащи в кубрик. «Командарм» стоит третьим, — вот он.

На «Командарме» капитан Игнат Фотиев орал на двух ловцов, — приземистого саами Петра и своего сына Алексея. Они выпутывали попавший каким-то образом под киль канат.

— Говорил вам, тащите в сторону, растяпы! Запутает винт, тогда поплачете!..

— Эй, Фотиев! — крикнул с берега Бугаев. — Персонов на борту?

— Здесь я! — Персонов бежал по причалу, держа в подоле рубашки кучу зеленых яблок.

Когда, наконец, все были на борту, капитан дал команду:

— Персонов, включай мотор, чего мешкаешь? Давай задний ход!..

«Командарм», оторвавшись от стаи ботов, застучал мотором сильнее, плавно развернулся и, волоча за собой длинную струю пены, пошел вдоль скалистых берегов, с которых летели в море белые тонкие нити водопадов — в горах таял снег. Вода в губе была сиреневой, а у горловины сияла расплавленным желтым металлом — в этом блеске растворялись черные силуэты выходивших на простор ботов.

По мере приближения «Командарма» к воротам губы, начало покачивать: вверх-вниз, вверх-вниз, — плавное, сперва приятное, потом мучительное для новичка движение.

Таля, стоявшая на самом носу судна, испугалась: ей показалось, что к горлу поднимается тошнота. А если море ее «бьет», значит, прощай мечта стать ловцом... Она перешла на корму и остановилась там, глядя, как прыгает по волнам за кормой мокрая шлюпка. К девушке подошел Миша Бугаев.

— Не бьет?

— Нет, кажется...

— Мертвая зыбь. Самая дрянная штука! Всегда меня укачивает...

— Как... укачивает?

— Как? Травлю за борт, вот и все. А потом легчает.

— Дак как же ты тогда работаешь в море?

— А чего не работать? Ну стравлю, эка важность. Меня никогда не убивает до бессознания, не то, что тут одного — кровью рвало.

Стайка тойвинок летела следом за «Командармом», а в отдалении парили две большие чайки-«клуши», похожие на светло-серых орлов. Затем появились другие птицы, узкокрылые, дымчатой окраски, они быстро, словно темные стрелы, носились над золотой водою.

— Глупыши, — пояснил Бугаев. — Всегда в море, к берегу не любят летать. Их потом наберется видимо-невидимо. Срывают наживку с яруса.

— Во, во, гага пошла! — крикнул Персонов, стоявший в дверцах машинного отделения. Пальцем он указывал на пару черных птиц, которые словно бы бежали по воде, вздымая крыльями огненные брызги.

Полоса берега становилась все уже. С запада выплыл голубеющий силуэт острова Кильдина. Снега на нем казались сверкающей попоной на спине огромной тучной лошади, стоящей в море.

— Морянка подымается, — заметил Персонов. — Запляшет бот!

— Пускай себе пляшет, лишь бы ярус не порвать, — отозвался Бугаев.

— Мы далеко уйдем от берега? — спросила Таля.

— Верст на двадцать. Еще часа три. Пошли кушать?

— Нет, не хочу! — На лице Тали при мысли о еде появилась гримаса отвращения.

— Ну покормишь рыбку! — весело улыбнулся Персонов.

— Ладно тебе! — сказал Бугаев. — Человек первый раз в море.

— Можно мне встать у руля? — спросила Таля.

— Можно. Эй, Фотиев!

— Чего?

— Покажи Майминой, как штурвал держать, да пошли обедать.

Таля вошла в рубку.

— Компас понимаешь? — с пренебрежением осведомился капитан.

— Нет...

Фотиев пожал плечами с таким видом, будто только дураки не понимают компас.

— Ну, вот видишь «Н» — норд, север. Вот и смотри, чтоб он все время со стрелкой глядел. Понятно? Мы идем прямо на север, — он указал пальцем на белый диск с делениями под стеклом.

— Понимаю...

— Ну, становись!

Таля приняла штурвал, Фотиев некоторое время постоял рядом, потом вышел из рубки и спустился в кубрик.

Волны росли. Они были огромны — прозрачные синие холмы, выраставшие перед «Командармом». Бот отважно набрасывался на них, точно хотел пробить их насквозь, но волны были сильнее, они подкидывали его вверх, а затем обрушивали в зеленые ямы, обдавая палубу тучами брызг. Вода потоками струилась к фальшборту и стекала обратно в море.

Больше Талю не укачивало. Ей было хорошо, необыкновенно хорошо. Она смотрела на компас, на нос судна, на пенные валы, на далекий туманный берег. Она будет ловцом — теперь она это знала! Нет, море не «бьет» ее, а если б и «било», — что ж с того! С этим можно справиться, как справляется Миша Бугаев. А какое это чудесное чувство — когда ты управляешь судном!

Она долго предавалась радостным мыслям, которые были как бы вознаграждением за те печальные думы, что мучили ее все эти дни. Ей казалось, — последняя капля горечи растворилась в большой радости первой победы, первого шага к достижению цели.

Наконец ловцы начали выходить из кубрика.

— Можно метать, — сказал Бугаев.

Фотиев сменил Талю у руля. Она вместе с Бугаевым, Красавиным и Алексеем Фотиевым прошла на кормовую площадку.

— Давай тихий! — скомандовал Бугаев.

— Тихий ход! — повторил Фотиев.

— Встань же под ветер, черт!..

— А я не встаю?

— Кидаю! — Бугаев поднял кубас и рыжий от ржавчины якорек-дрек и швырнул их в волны. Дрек мгновенно исчез под водой, а кубас — род поплавка в виде двойной рамы, с заключенными в ней блестящими шарами-«кухтелями» — завертелся, разматывая стоянку, к которой и был прикреплен дрек. Но вот моток размотан. Кубас изменил лежачее положение на стоя-

чее, и флажок его замелькал над гребнями вод. Миша Бугаев начал выбрасывать ярус. Бесчисленные чайки и глупыши с криками бросились в воду, стараясь сорвать с крючков наживку. Темные и белые крылья трепещут вокруг яруса, некоторые птицы попадаются на крючки и погружаются вместе с ярусом в море. У Тали сжимается сердце, — она еще не привыкла к этому зрелищу.

Выметывание длится несколько часов. Падает и падает в море с бота нескончаемый многоверстый шнур.

— Вперед... Тихий... Давай... Стоп, — командует Бугаев.

Потом его сменяет саами Петр — нужно все время следить, чтобы ярус не запутался. И все это время чайки и глупыши, не обращая внимания на гибель товарок, продолжали свою рискованную охоту за наживкой. Наконец брошен последний кубас, и дрек его поглощен волнующимся морем.

— Ну, теперь вокруг да около ходить будем, — сказал Игнат Фотиев. — Эй, Маймина, становись-ка опять за штурвал! — С этими словами он уступил место Тале и вышел из рулевой рубки.

Оставшись одна, Таля распахнула все окна рубки, кроме заднего, и мощная струя ветра стала омывать ее лицо, часто донося соленые холодные брызги. Когда она держала руль на ветер, «Командарм» яростно шел в наступление и всей тяжестью набрасывался на валы, вздымающие навстречу ему белые гребни. Когда же она поворачивала бот, волны били в бока, обдавали всю палубу и швыряли судно из стороны в сторону.

Все ловцы, Бугаев и капитан Фотиев скрылись в кубрике, где они улеглись спать, а другие лениво беседовали, расположившись вокруг стола.

— Алешка, чего это ты бледный какой? — спросил Персонов, с трудом сдерживая смех. — Закачало?

— Ничего не закачало. Отстань! — ответил Алексей Фотиев. Он угрюмо уставился в одну точку, губы его побелели, а зрачки птичьих глаз расширились. Он невольно прислушивался к хриплому голосу своего отца, повествующего о том, что «треска, она обжора, самая обжористая рыба, глотает, что ни попадет: сельдь так сельдь, рак так рак, водоросль так водоросль»... и что «глыбже двуста сажень ее не ищи», а также, что «проклятый морской зверь ее распуживает, а кабы не тюлень, так тресковый лов начинать можно бы в начале апреля»... Алексей порывисто поднялся и полез по трапу на палубу.

Таля видела, как он вышел, с треском распахнув дверцы капа и потом захлопнув их за собой, как он шел по пляшущей

палубе, ни за что не держась. Его долговязая сильная фигура инстинктивно находила равновесие там, где сухопутный человек давно слетел бы с ног. Она улыбнулась ему из-за штурвала, уже обветренная, с прядями красных волос над широким лбом и с горящими каким-то лазурным огнем глазами. О, сегодня, в эти минуты, она чувствовала безграничную нежность ко всем ловцам-матросам «Командарма». Больше того — эта нежность распространялась и на вещи: теплым взглядом окидывала она мокрый тяжелый якорь, прикрученные к мачте бочонки, свернутый триссель и весь корпус бота. Нет, никогда грудь ее не дышала так вольно, как здесь, среди этого пляшущего и шипящего хаоса золотых и зеленых волн, среди чаек, кричащих и кружащихся за кормою, то внезапно опускающихся на воду, то возносящихся вместе с нею ввысь, или в быстром полете срезающих острым крылом хлопья пены.

Алексей Фотиев вошел в рубку и встал рядом с Талей. Хмуро смотрел он вдаль, не решаясь заговорить с девушкой. Наконец, преодолев смущение, он вытащил из кармана маленькие золотые часы и на ладони протянул их Тале.

— Возьми, — отрывисто сказал он, не то моля, не то приказывая.

— Что ты, Алеша! Что это ты выдумал? — смутилась Таля. Взглянув на Алексея, она была поражена выражением сосредоточенной боли на его узком загорелом лице. — Зачем мне часы? Не нужно, Алеша!..

— Не нужно? Ну так вот! — Алексей размахнулся и швырнул часы в воду.

Таля растерянно молчала. Молчал и он. Молчание длилось долго, только и было слышно, как плескались волны да рокотал мотор.

— Я вижу хорошо, Таля, что для вас я противный, — первый заговорил Алексей хриплым от волнения голосом. — А между прочим, вы для меня не противны, вы для меня — все!.. — Он посмотрел на Талю и криво усмехнулся.

Она не знала, что сказать в ответ, и молчала.

— Я хотел на вас жениться.

— Я не собираюсь замуж, Алеша, — пролепетала Таля.

— А я вот собирался. Что мне так... Пустота — жизнь! — Он вздохнул с каким-то всхлипом и продолжал: — Выбрал вас, хотел жениться, не вышло — не надо!.. — Помолчав, он коротко рассмеялся. — А часики мне не жалко! Подумаешь! Двести пятьдесят рублей!..

— Напрасно ты их кинул

— А на что? Я для вас купил... Да чего там говорить...

Противный, ну и ладно. Мил силком не будешь. — Но вдруг выражение его лица изменилось. Оно вспыхнуло и, как бы озаренное внутренним огнем, стало почти красивым. — Таля! — шепотом произнес он, — Таля, ты пойми, ты мне так люба, ты мне всего на свете милей, Таля, может...

— Алеша, зачем ты это? — Таля чуть не плакала. Она понимала, что должен был испытывать сейчас молодой Фотиев, ей было жалко его, жалко себя и досадно. — Не нужно!.. Ты мне просто товарищ. Вот не выбросил бы часы, я бы взяла...

— Я новые тебе куплю!

— Да ты пойми — не нужно мне подарков...

— Не нужно? — Глаза Алексея мрачно блеснули. — Знаю я, в чем дело... Ты с Лагуном. Я слыхал...

Таля содрогнулась, словно ее ударили по лицу. Она повернулась к нему, взгляд ее из мягкого стал ледяным. Она что-то собиралась сказать ему, но в этот момент из кубрика показались ловцы.

На них теперь были проолифенные спецовки, делавшие их широкоплечими, точно это вовсе не ловцы, а древние латники. Игнат Фотиев вошел в рубку и проворчал:

— Вы! Идите одеваться.

Алексей молча помог Тале напялить жесткую спецодежду и сам оделся в доспехи рыцарей трески и пикши.

Жорка Красавин, лежа животом на фальшборте, вылавливал багром кубас. Раза два он промахнулся — так разыгралось море.

Когда стоянка оказалась в руках ловцов, ее немедленно перекинули через колесо лебедки — и началась «потеха».

Лебедка, вращаясь, вытягивала из моря ярус. Петр, расположившись позади лебедки, укладывал его в ящик. А Жорка Красавин и Миша Бугаев стояли у борта с ляпами в руках и, нагнувшись, смотрели вниз, в клокочущую воду. Птицы почти задевали крыльями их головы, грудь и плечи. Вот в раскачивающейся синеве что-то смутно блеснуло: еще миг — большой, красноватый скат мелькнул у борта и, подхваченный ляпом Бугаева, шлепнулся на палубу. Из-под воды вынырнула голова белесой трески с огромными глазами, и в ту же секунду в ее веретенообразное мясистое тело вонзился ляп Жорки Красавина. Он рванул ее, прежде чем она достигла железного ролика, через который тянули ярус, и, разорвав ее толстые белые губы, швырнул рядом со скатом. Еще и еще треска. Блеснула лиловая спинка пикши. Опять скат. Еще один... Треска. Пикша. Огромная треска. Сплюснутый, буро-зеленоватый палтус. Еще палтус. Треска. Пикша. Треска. Бугаев и Красавин едва успе-

вают срывать с крюков рыбу. Если они промахивались и рыба натыкалась на ролик, то она с плеском летела обратно в море. Заметив это, Таля тоже схватила ляп и, усевшись верхом на фальшборт, так что одна нога ее в высоком сапоге то и дело оказывалась в воде, начала подхватывать рыб, прежде чем они успевали уйти в свою стихию.

— Ой, чудище какое! — сверкая глазами, крикнула она. Влекомая ярусом, из-под воды высунулась серая старушечья голова с оскаленными зубами и бешено-злобными глазами.

— Зубатка! — Жорка Красавин ударил ляпом в тучный бок рыбы. Однако она сорвалась с ляпа и тяжело плюхнулась в волны. Таля далеко высунулась за борт и, чуть не упав в воду, успела вонзить в нее свой ляп. Вместе с подоспевшим Бугаевым они с трудом выволокли громадину на палубу. Зубатка страшной своей пастью схватила треску и замерла в мертвой хватке.

То была азартная игра — Таля забыла, увлеченная ею, обо всем. Море подкидывало бот, накреняло его, но ловцы, с ног до головы облитые водой, продолжали свою жестокую работу. Это был промысел, рыбацкий труд. Она сменила Красавина и после двух-трех неудач стала срывать рыбу с яруса не хуже, чем он, что вызвало восторг Бугаева.

— Вот это девушка!

— Да, девка на два больших! — Красавин подмигнул Алексею. Тот смерил его грозным взглядом, но ничего не сказал.

— Миша, пусти меня к борту, а Алешка пускай становится на мое место! — Петру не терпелось показать и свою ловкость.

Поработать ляпом успели все. Вытягивание яруса длилось больше пяти часов без малейшего перерыва. Бывали моменты, когда рыбы совсем не было. Потом она опять шла так густо, что образовывала как бы серебристую гирлянду. На палубе росла гора мокрой блестящей рыбы, Бугаев принялся скидывать ее в трюм.

Но вот и последний кубас. Вытянув дрек, прибавили ходу. Перед носом «Командарма» закачалась далекая полоса берега. Свита чаек держалась за кормой. Ловцы устали, но были довольны — улов не дурен: три тонны с лишним, если определить на глаз.

Таля скинула комбинезон, спустилась в кубрик и повалилась, как подкошенная, на койку. Через минуту она спала мертвым сном. Ни думы о Лагуне, ни воспоминания о недавнем тяжелом разговоре с Алексеем Фотиевым, ни даже карти-

ны лова — ничто не тревожило ее. Она не слышала, как поднят был штофок, как увеличилась скорость, как вошел «Командарм» в Салнынскую губу и как подошли они к причалу на сдачу...

13

Люди северного побережья страны привыкли к ритмичному качанию волн. Путь морем, по существу, единственный путь сообщения между становищами. Еще есть олени. Но и нарты, стремительно летящие с горы в долину, из долины — в горы, и они раскачиваются точно так же, как морские суда, вверх-вниз, вверх-вниз!.. Ритм моря становится ритмом жизни.

«Пурга» раскачивалась так сильно, что временами винт выныривал из-под воды и рычал, вертясь вхолостую. А в кают-компании жизнь текла, будто в обычной комнате обычного дома, стоящего на твердом фундаменте.

Эйдельнант читал «Мертвые души», капитан Трофим Трофимович с гостями — Птичкиным, Ряйне Линде и Леонардом Вителем — пили чай и беседовали.

Птичкин, как, впрочем, и Эйдельнант, и капитан «Пурги», выглядел точно так же, как и тогда, когда голос его гремел в фиорде Извилистом. На нем был все тот же ватник, те же «ботфорты» и тот же лохматый треух на огромной круглой голове. Трудно было узнать Ряйне Линде: на нем был серый щегольской костюм, голубовато-серый вязаный жилет и блестящие коричневые штиблеты. Шею его охватывал крахмальный воротничок с синим шелковым галстуком. На вешалке качалась его широкополая фетровая шляпа. Бригадир колхоза «Революция» выглядел сейчас скорее как какой-нибудь врач или адвокат из Гельсингфорса, нежели рыбак, хотя бы и орденоносец. Впрочем, большинство ловцов-финнов в свободное время большие франты.

— Нет, — сказал Леонард Витель. — Хвастаться нам совершенно нечем: улов мог быть в несколько раз больше!

— Вам бы все сразу, Леонард Карлович. — Трофим Трофимович отпил горячего чаю и сожмурил по-кошачьи свои дальнозоркие глаза. — Это только сказка скоро сказывается, а дело...

— Я понимаю, — продолжал Витель, — уловы старого Мурмана сравнивать с теперешними невозможно. Но...

— В тридцать первом на ловца приходилось не больше сотни центнеров, — вмешался Птичкин, — а нынче знаете сколь-

ко? Нынче мы подобрались к шестистам центнерам на ловца! И — нечем хвастаться? — Он развел руками.

— Не забывай, товарищ Птичкин, — сказал Витель, — что из-за недостатка ботов тысяча ловцов Терского района во время путины дома сидит. Прибавь к ним сотни две ловцов Полярного и Териберского района. А всего ловцов сколько на Мурмане?

— Двух тысяч не набрать, — сказал Трофим Трофимович.

— Значит — что? На сельдяном мы не используем и трети людей. Теперь спросим: а если их использовать? Улов был бы выше во много раз!..

— Бота подводят, — веско, как всегда, произнес Ряйне Линде. — На сельдь не годятся никаким образом.

— Механизировать в крупных масштабах промысел, дать рыбакам в большом количестве мощные боты в семьдесят пять сил, — не сдавался Витель, — тогда можно будет похвастаться. Весь мир о Мурмане заговорит. Мы тогда страну рыбой завалим, товарищ Птичкин!

— Положим, о Мурмане и так говорят и трубят! — Птичкин, привыкший ко всему относиться критически, чувствовал себя как-то неловко в роли защитника Мурманска, который, впрочем, он всегда защищал с горячностью. — А что вы хотите? Колхозы «Тармо» и «Революция» имеют миллионный доход и строят себе электростанцию, кирпичный завод. Колхоз имени Ворошилова следует их примеру. «Звезда Севера» отстраивает себе целый новый поселок двухэтажных домов. Говорить, что достигнуто мало, это просто несправедливо!

— Достигнуто немало, — спокойно ответил Витель, — но нужно больше.

— Скоро сказка сказывается... — повторил Трофим Трофимович. — Прежде чем новые бота сюда гнать, вы ремонт старых наладьте. Возьмите-ка мастерские на Торос-Острове или Териберского МРС, — знаете, как они ремонтируют?

— У них судно в ремонте стоит три месяца, — поддержал его Ряйне Линде. — А ремонт такой, что через две недели крак и — сломано!

— Да, проблемки тут, скажу я вам, такие, что их скоро не подымешь! — произнес Птичкин, довольный атакой Трофима Трофимовича на Леонарда Вителя.

— Подымем! — сказал Эйдельнант, одним ухом, по-видимому, прислушивавшийся к разговору.

— В том-то и дело — нужно поднять! Тут нужно, как и везде, искать основное звено, взявшись за которое вытянем всю

цепь вопросов. Я говорю: мощный бот — есть это звено. Государство должно дать и даст его Мурману!

— А почему вы не возьмете за это самое «основное звено» приемный флот? — осведомился Птичкин. — Разве вам не известно, — так же хорошо как и мне, — что нехватка именно этого флота и баз обработки больше всего тормозит увеличение добычи? Не было, что ли, случаев в эту зиму, когда бот подходил на сдачу и в очереди чуть не сутки терял?

— Приемный флот за основное звено не беру, потому что...

— Потому что, — торжествующе перебил Птичкин, — потому что, мол, меня, старого большевика и изобретателя Леонарда Вителя, поставили во главе строительства заполярных МРС, и бота здесь не по моей части. Так?

— И не совсем так! Просто я знаю: будет у нас сила выловить много рыбы — появится и сила принять большой улов!

— Э, нет, Леонард Карлович! Не так-то все просто!.. Тут получается вроде заколдованного круга. — Трофим Трофимович отрезал ломоть булки, намазал его маслом, откусил и, жуя, покачал головой.

— Заколдованных кругов для коммуниста... — начал с улыбкой Витель, но закончил за него Эйдельнант:

— Нет и быть не может! — сказал он, захлопывая книгу. — Нет таких заколдованных кругов, которых бы не расколдовали большевики, Трофим Трофимович!

— Тут вот что нужно делать, — прервал свое раздумье Ряйне Линде. — Государство пускай строит базы и приемочный флот. Бота построим себе мы сами! Что будут делать «Революция» и «Тармо», «Ворошилов» или «Звезда Севера» с их миллионами? Дансинги устраивать? Только пускай верфь заказ наш примет и срочно выполнит, — вот что просим мы у правительства. А мы сами богатые, можем ему деньгами помочь!

— Вот слова мужчины! — Эйдельнант хлопнул бригадира по плечу. — Не все же нам быть на иждивении!

Ряйне достал из жилетного кармана тяжелые золотые часы.

— Вот, хронометр, — сказал он, — я себе купил. Он мне нужный — я купил. Колхознику нужен бот. Он его купит.

Все осмотрели часы, достойные украсить собой небольшую башню, раскрыли крышку, сосчитали количество камней, взвесили тяжесть часов на ладони и вернули их хозяину. Леонард Витель сказал:

— Конечно, то, что ты говоришь, Ряйне, замечательно, и даже очень. Но ты поимей в виду, что Кольский берег будет заселяться. А колонист сразу богатств не приобретет. Тут и придут на выручку МРС...

— Это хорошо, дядя Леонард, — смеясь, перебил его Эйдельнант, — что ты стал патриотом МРС! Что же до вашего спора, то помяните мое слово: ближайшие три года будут годами такого расцвета нашего Севера, что, как ты скажешь, Трофим Трофимович, — ни в сказке сказать, ни пером описать. Заколдованный ваш круг — ребус с ботами и приемным флотом — давно уже решен. И решение это проводить в жизнь предстоит нам!

Качка между тем прекратилась.

— Вошли в Мало-Оленью салму, — сказал Трофим Трофимович.

Все вышли на палубу подышать свежим воздухом.

«Пурга» скользила по спокойной салме, казавшейся голубою рекой в скалистых берегах. По ее гладкой поверхности плавали, точно белые цветы, хлопья пены, оставшейся после шторма.

Долго стояли, безмолвно любуясь берегами салмы, освещенными желтым солнцем. Потом, когда бот снова закачало волнами, все, кроме Леонарда Вителя, ушли в каюту. Витель остался на палубе. Ласкаемый холодным ветром, стоял этот человек, в котором сочетались пыл юноши и опыт старости, и думал — о чем? О предстоящей ему новой работе или о былом времени, когда эти берега были точно такими же, но не принадлежали свободному народу, который воздвигает на них города и селенья?..

К Салныни «Пурга» подошла во время «жаркой воды» — отлива. Пришлось остановиться на рейде.

— Как, сейчас поедете или подождете? — спросил Эйдельнанта Трофим Трофимович, занявший при входе в губу свой пост в рулевой будке.

— Давай шлюпку, чего ждать, — отвечал Эйдельнант.

Через пять минут шлюпка донесла приехавших до пляжа. Однако Ряйне Линде лишний раз пришлось убедиться, что в условиях Заполярья европейский костюм не всегда пригоден. Шлюпка, не достигнув берега шагов шесть, врезалась килем в песок и, как ни толкал ее матрос веслом, ближе подойти не удалось.

Птичкин в своих ботфортах перелез через борт и зашагал по воде, его примеру последовали Эйдельнант и Витель.

— Давайте перенесу вас на руках! — крикнул Птичкин Ряйне. Но тот отказался, сказав, что спешить ему некуда и он, вернувшись на «Пургу», подождет прилива...

Эйдельнант, Птичкин и Витель, миновав клуб-церковь и вешала, с которых, точно занавеси, свисали сети, вышли на главную улицу Салныни и остановились у маленького домика.

У дверей Чичибабин колол дрова. Увидев гостей, он бросил топор и кинулся к ним.

— Шура, чего ж ты не предупредил, что приедешь? — Он с жаром тряс руку Эйдельнанта. — Вот это так радость! А мы тут банкет колхозный замыслили, — такой, какого свет не видал!

— Эх вы, банкетчики!.. Ну, как дела? — Эйдельнант хлопнул Чичибабина по плечу.

— Да как они могут идти, кроме как хорошо? Движемся!.. Привет, Птичкин. Ты, однако, не похудел, ха-ха!.. Здорово, товарищ Витель... К нам перебираешься? Ну-ну, валяй-валяй! Да-а... Да вы заходите, чего мы на улице встали? Я сейчас чай сварганю. Ну рад я, ей-богу, что вы приехали!..

Прибывшие от чая отказались, так как только что пили чай на «Пурге». Решили осмотреть колхоз. По пути их то и дело останавливали ловцы, — поздороваться, перекинуться с «начальством» шуткой.

Чичибабин предложил прежде всего пойти посмотреть строящийся плавучий мост.

Все направились к реке Салнынке, где от одного берега к другому протянулось некое подобие плота, на котором сейчас никого не было. Один лишь красный транспарант, приготовленный к Первому мая, то надувался ветром, то снова спадал. «Нет таких крепостей, которых не взяли бы большевики!» — было написано на нем белыми буквами.

— Хороший лозунг, правильный! — сказал Эйдельнант и спросил, обращаясь к Чичибабину: — Для красоты повесили или от души?

Чичибабин с укором посмотрел на Эйдельнанта.

— Скажешь тоже — для красоты! — смущенно проговорил он. — у нас теперь знаешь как молодежь за дело взялась — закипело все! И какая молодежь — Лагун Пашка, Маймина, а верховодит всем твоя сестра — Витель... Боевая она у тебя!.. А ты, Шура, говоришь — для красоты! Это ж, можно сказать, программа жизни!..

СЧАСТЬЯ БЕЗ ТВОРЧЕСТВА НЕТ...

Литературное наследие Анатолия Анатольевича Луначарского не велико. Жизнь этого молодого литератора и удивительно обаятельного человека оборвалась слишком рано. И тем не менее он оставил заметный и своеобразный след в истории советской литературы.

Анатолий Луначарский родился в 1911 году в Париже, когда его родители находились в эмиграции. На формирование его личности, развитие нравственных принципов и идейной убежденности огромное влияние оказали мать, Анна Александровна, умная, талантливая и образованная женщина, и в особенности отец, Анатолий Васильевич Луначарский, пламенный большевик, видный деятель Советского государства, одаренный писатель и драматург, блестящий знаток литературы, тонкий ценитель живописи и музыки, которого В. И. Ленин называл «сверкающим талантом».

Анатолий Васильевич горячо и нежно любил своего единственного сына и уделял его воспитанию много внимания. Он играл с мальчиком, читал ему книги, рассказывал сказки. А когда Толя подрос, вместе посещали театр, смотрели пьесы Островского в Малом, чеховские спектакли в Художественном, слушали в холодном, нетопленном Большом зале консерватории Баха и Чайковского, простаивали перед полотнами Серова и Левитана в Третьяковской галерее. А потом горячо обсуждали просмотренные спектакли, прослушанную музыку, увиденные картины.

Заметив у сына склонность к литературе, Анатолий Васильевич приучил Толю вести дневник, правильно излагать свои мысли, быть наблюдательным, осмысливать виденное, задумываться над происходящим.

Литературная деятельность Анатолия Луначарского началась рано. В семнадцать лет он написал свою первую повесть, получившую положительную оценку отца.

«Она (повесть. — **Л. П.**) очень мила, — писал Анатолий Васильевич в своем письме к сыну от 29 апреля 1929 года. — Но кое-где нуждается в отделке. Тон очень хороший». Вслед за повестью молодой литератор перевел с туркменского языка пьесу Таушан Эсеновой «Дочь миллионера», начинает сотрудничать в литературных журналах «Молодая гвардия», «Театр».

Молодость Анатолия Луначарского пришлась на начало тридцатых годов. Это была пора величайшего трудового энтузиазма советского народа. В строй вступали первенцы советской индустрии, на безбрежных полях Украины и Кубани бороздили землю новенькие, только что сошедшие с кон-

вейера тракторы, на берегу Амура стали появляться контуры будущего Комсомольска, молодежь устремилась осваивать Север.

Вместе с тысячами юношей и девушек Советской страны комсомолец Анатолий Луначарский — на переднем крае. Выучившись водить трактор, он несколько месяцев работает в украинском зерносовхозе, оттуда направляется к берегам Тихого океана и сотрудничает в хабаровской газете «Тихоокеанская звезда», а спустя некоторое время мы видим молодого писателя уже плавающим на рыболовецком сейнере в холодном Кольском заливе...

Каждый раз, возвращаясь из очередной поездки, Анатолий привозил новые очерки, стихотворения, рассказы. Тема творчества молодого писателя — советская действительность, герои произведений — его современники.

Журнал «Красная новь» в 1934 году опубликовал серию новелл Анатолия Луначарского под названием «Солнце вваливается в дверь» — о трудовых буднях зерносовхоза, «этого, — по словам автора, — островка в просторе пшеницы». С любовью рассказывает он о людях совхоза, о секретаре партийной ячейки Иване Сергееве, который добровольно оставил трактор и стал чернорабочим, чтобы вытащить отстающий участок, о деятельном Эвенчике, заведующем седьмым участком, о доброй тете Гание, все еще оплакивающей убитого белополяками сына...

Север вошел в творчество Анатолия Луначарского репортажем «Ловцы живого серебра», публикуемым в этой книге. С подлинным мастерством художника рисует автор природу Севера, суровую красоту его моря, строгие вершины скал, выступающих из холодных свинцовых вод, хрупкие, едва распустившиеся деревья... Но главное, конечно, люди — сильные, храбрые, молодые моряки, занятые своим трудным повседневным делом — ловлей рыбы.

Герои повести демобилизованный красноармеец Паша Лагун, его друзья: Миша Бугаев, смелый моряк, но духовно слабый человек, из-за неразделенной любви пристрастившийся к вину; счастливый в своей любви к работе Костя Грустилин; веселая, озорная, деятельная Соня Витель, секретарь комсомольской ячейки; старик Вдовушин, на своих плечах испытавший жизнь рыболовецкой фактории до революции. Репортаж рассказывает о взаимоотношениях людей, о жизни, которая для главного героя Паши Лагуна — поле битвы, нелегкая борьба с отсталостью, темнотой, с силами, враждебными социализму. И если в начале повествования Паша лишь пассивно наблюдает недостатки в работе колхоза, то в конце он, вероятно (репортаж, к сожалению, не закончен автором), вместе с Соней Витель, старым рыбаком Вдовушиным и другими колхозниками начинает действовать и бороться за преодоление трудностей.

В тридцатых годах литературная биография Анатолия Луначарского только складывалась. Он часто перечитывал одно из последних писем отца.

«Дорогой сын, — писал Анатолий Васильевич из Женевы, незадолго до

своей смерти. — Мне захотелось кое о чем написать тебе. Во-первых, что я тебя горячо люблю, люблю, как развертывается твоя жизнь, и желаю, чтобы она была широкой, яркой и творческой, а значит и счастливой. Творчество без счастия приемлемо. Счастья без творчества нет!»

Это было жизненным убеждением страстного революционера, большевика-ленинца Анатолия Васильевича Луначарского. Это стало завещанием для его сына.

Анатолий — молодой член Союза писателей, у него много литературных планов, широких замыслов, впереди большая творческая жизнь.

День двадцать второго июня 1941 года нарушил все планы. В первый день войны Анатолий Луначарский — на митинге в Союзе писателей, а спустя некоторое время журналист и писатель Луначарский уже в действующей армии, на Черноморском флоте.

Старший лейтенант Луначарский участвовал в героической обороне Севастополя, был в составе 83-й бригады морской пехоты, на канонерской лодке «Красная Грузия» высаживался с десантом в районе Новороссийска.

Вот как запомнился Анатолий Луначарский матросам, с которыми служил на одном корабле.

«Подтянутый, красивый, темноглазый. Иногда был задумчивым, то вдруг становился порывистым, а порой и несдержанным. Из растопыренных карманов его кителя вечно торчали толстые записные книжки. И днем и ночью, в аду непрекращающихся сражений Анатолий Луначарский делал заметки в своей книжке, чтобы потом снова взяться за автомат и словом и делом поднимать дух бойцов».

В краткие часы затишья или ночью, под свист трассирующих пуль и рвущихся невдалеке морских мин молодой литератор делал свое прямое дело, писал для фронтовой газеты «В бой за Родину» стихи и очерки, рассказы и песни. Здесь же он написал повесть «На катерах-охотниках», вошедшую в сборник. В ней писатель рассказал о боевых делах небольшого экипажа МО-091. Словно живых, мы видим скромного, интеллигентного юношу, лейтенанта Русанова, смелого и мужественного, но по молодости лет напустившего на себя внешнюю браваду старшего лейтенанта Снежкова, чудесную девушку, кока сейнера Любу, прозванную моряками Черноморочкой...

Герои повести — люди с разными характерами и судьбами, с разным восприятием мира, но всех их объединяет жгучая ненависть к врагу и страстное желание любой ценой раздавить «гитлериаду» — так Анатолий называл гитлеровскую Германию.

На фронте он задумал писать пьесы: «Черный комиссар», «Десант», лирическую повесть «Мой корабль», у него возникает замысел большого романа о советских девушках, героинях войны на Черном море. Здесь же Анатолий много и успешно занимается: изучает английский язык, читает в подлиннике Шекспира, статьи Белинского, перечитывает «Былое и ду-

мы» Герцена, пишет полные любви письма матери, жене Елене Ефимовне, новорожденной дочурке Анютке.

В письмах, часть которых опубликована в книге, особенно ярко раскрывается образ этого необычайно обаятельного, мужественного и душевно чистого человека.

С гордостью сообщает Анатолий матери о том, что ему дали рекомендацию в партию, что спустя сто дней после начала войны он уже коммунист, радуется, что команда корабля признала в нем не только писателя, но и боевого товарища, делится с Анной Александровной, как с человеком тонкого литературного вкуса, своими творческими планами, замыслами будущих книг.

Нельзя без волнения читать одно из последних писем Анатолия Луначарского. «Иду в сложную морскую операцию... — писал он своим близким. — Я уверен, что мой «демон» оградит меня от вражеских пуль и снарядов, но все же... Все же мне хочется сейчас, когда все готово к битве, когда от рева пушек, грохота бомб, воя мин меня отделяет несколько часов, сказать вам, как безмерна моя любовь к тебе, мама, к тебе, Аленушка, к Анютке, к моей Родине, к жизни.

Я люблю вас! Эти слова я твержу, как девиз. Я люблю вас — и поэтому иду на опасность. Я хочу быть достойным своего счастья... И такого народа, как мой народ!..»

Нередко ему приходилось оставлять письма недописанными и отправляться в бой.

Анатолий Луначарский погиб 12 сентября 1943 года во время новороссийского десанта. Посмертно писатель-воин был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью «За оборону Севастополя».

То, что осталось после него, дает нам представление о незаурядных способностях этого молодого литератора, раскрывает чистоту его помыслов, неуемную жажду творчества, горячую любовь к Родине, которой он отдал свой талант и свою жизнь.

Людмила Пинчук

СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПУБЛИКАЦИИ ДОЧЕРЬЮ ПИСАТЕЛЯ
А. А. ЛУНАЧАРСКОЙ

Луначарский Анатолий Анатольевич.
ЗА ПРАВО НА СЧАСТЬЕ. Дневники. Письма. Повести. М., «Молодая гвардия», 1970.
128 с. (Ровесник).

Р2

Редакторы *Б. Евгеньев и Е. Максакова*
Художник *Н. Романов*
Худож. редактор *В. Плешко*
Техн. редактор *В. Савельева*
Корректоры *А. Долидзе, Г. Киселева*

Сдано в набор 15/IV 1970 г. Подписано к печати 9/VII 1970 г. А02668. Формат 60×84[1]/16. Бумага № 2. Печ. л. 8 (усл. 7,44). Уч.-изд. л. 7,7. Тираж 65 000 экз. Цена 23 коп. Т. П. 1970 г., № 201. Заказ 765.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», Москва, А-30, Сущевская, 21.

23 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ